

Евгений Чуриков

ГИМНАЗИСТКА

Будущее... для чего хочешь,
только не для любви.
У нас... только настоящее...



Евгений Чириков

Гимназистка

*Текст предоставлен правообладателем.
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=6377684*

*Седьмая книга;
ISBN 978-5-906-13760-9*

Аннотация

Одна была белая, другая – черная. День и ночь. Радость и страдание... Впрочем, где кончается радость и начинается страдание? Ах, любовь на заре жизни, твоя радость полна страданий и твои страдания полны радости! Грустная радость и сладкие страдания...

Содержание

I	4
II	10
III	16
IV	23
V	31
VI	40
VII	49
VIII	57
IX	64
X	71
XI	78
XII	87
XIII	98
XIV	105
Конец ознакомительного фрагмента.	106

Евгений Чириков

Гимназистка

*Светлому спутнику моей жизни, Валентине
Георгиевне Чириковой, посвящаю я эту книгу.*
Автор

*...Одна была белая, другая – черная. День и ночь.
Радость и страдание... Впрочем, где кончается
радость и начинается страдание? Ах, любовь на
заре жизни, твоя радость полна страданий и твои
страдания полны радости! Грустная радость и
сладкие страдания...*

I

Однажды весенним утром я сидел в укромном уголке городского сада и готовился на аттестат зрелости. Весна была в полном разгаре: цвела черемуха и распускалась сирень; листья на деревьях еще не успели пропитаться пылью и казались только что выкрашенными и покрытыми лаком; по изумрудным лужайкам, над желтыми цветами, трепыхались первые бабочки, а в чаще кустов воробьи озабоченно переговаривались о грядущих хлопотах по устройству своих семейных очагов. Ликующее солнце не успело еще выпить росу на траве и листьях, и долговязые тени еще перерезали до-

рожки сада и давали свежую, ароматную прохладу...

Здесь, в глухом углу сада, было тихо и безлюдно; шум просыпающегося города долетал сюда смягченным и не мешал думать и прислушиваться к ласковому шелесту листочков и к пугливым тайнам своей души, где звенела радость жизни и первых предчувствий юной любви. Мелодичный благовест далекой церкви и кудахтанье снесшейся где-то курицы, ласковый шёпот листвы и солнечные пятна по дорожкам уносили душу в царство неясных и ленивых мечтаний и сливались в один общий радостный гимн жизни, который пела ей вся обновленная природа...

Какая это радость чувствовать жизнь и не знать, не думать, зачем живешь на свете! Зачем растут черемуха и сирень, зачем они цветут и кружат голову своим сладким ароматом? Зачем восторженно кричит снесшаяся курица, оповещающая весь мир о радостном событии? Зачем трепещет крылышками бабочка над молодой шелковой травкой?.. Почему так радостно замирает сердце, когда я слышу чьи-то приближающиеся шаги на дорожке?.. Не знаю и не хочу знать. Душу ласкает тихая, нежная радость какого-то неясного ожидания, и только один вопрос омрачает эту радость: зачем устроен аттестат зрелости?..

Через три дня – экзамены по истории и географии. Непролазная лень в теле и скорбь в мозгах. Так прекрасна в весеннем наряде земля и так невыразимо скучна география!..

– Амстердам, Гарлем, Саардам, Гага, Лейден, Роттер-

дам... — шепчут губы и в сонливой фантазии рождаются и громоздко шевелятся с этими названиями не то какие-то допотопные чудовища, не то какие-то зловещие враждебные слова. Никогда не был в этих городах; может быть, это — красивые города, ласкающие взор своим видом, а теперь я ненавижу их и они представляются мне чудовищами. Широко раскрывается рот для позевоты; ленивая истома заставляет расслабленно так потягиваться и, закрыв глаза, прислушиваться к восторженному кудахтанию курицы...

— Амстердам... дам, дам, дам... Чьи это шаги заставили вздрогнуть мое сердце и тревожно раскрыть глаза? Да, ты, сердце, не обмануло: опять — та же гимназистка, опять с книгой... Тоже готовится к экзаменам...

— Амстердам, Гарлем, Саардам...

Высокая, стройная... Две тяжелых косы... Гордая походка. Похожа на Маргариту. Поскрипывает башмачок, на песке остается отпечаток ножки. Лениво везет за собою зонтик, протягивая тонкую нить по дорожке. Даже не взглянула, словно меня и не было на лавочке. Откуда взялась? Вчера увидал в первый раз. Гордая. А косы-то!..

— Да... Амстердам, Гарлем, Саардам, Гага, Лейден, Роттердам!..

Чувствовало сердце, что увижу... Красивая! Словно ветка распутившейся сирени. Прошла, а все еще остается на душе какая-то паутина блеснувшей красоты и радости... Тянет смотреть вслед... Оглянется или нет?.. Оглянулась! По-

сизжу: может быть, сделает круг и пройдет еще раз...

– Амстердам, Гарлем, Саардам, Гага, Гага, Гага... Ох, Господи!

И опять – в светлом платье. Золотистые волосы... Желтые туфли... Соломенная шляпа... Как пастушка!.. Вся она как-то белая. А глаза – как небо. Глаза – васильки...

Закрываю глаза и предо мною рисуется поле, рожь, васильки... Ласковый ветерок обвеивает щеки, осторожно гладит под шляпой волосы, нашептывает о чем-то отрадном, кротком и близком.... О чем? Об этой девушке... Какая она красивая, тихая, как это весеннее утро, кроткая и лучезарная! Ах, если бы услышать ее голос! Не идет. Неужели ушла?..

– Амстердам, Гарлем, Саардам...

Встал и пошел деловым шагом в сторону, куда ушла девушка... Дорожка круто сворачивала влево, и когда я, покорный ее воле, свернул за густые кусты сирени, – в глазах мелькнуло яркое белое пятно: на низенькой лавочке с раскрытой, позабытой книгой на коленях сидела девушка, та самая, которая...

Задумалась. Откинула голову и смотрит в синее небо. О чем она думает? Разве узнаешь! Никогда. Вздогнула и уставилась в книгу. Розовые губки шепчут что-то... Не обращает внимания. А зонтик валяется под ногами...

– Вы уронили зонтик...

– Ах, благодарю вас...

Покраснела. Забеспокоилась.

– Я помешал вам? Готовитесь к экзамену?

– Да.

– Я тоже. Скорее бы кончить. Надоели Амстердамы... А вы...

– Я тоже кончаю...

Спрятала глаза в книгу. Не хочет говорить. Поклонился и пошел дальше, а в ушах всё еще звучал новый голос, которого никогда не слышал еще в жизни... Немного холодный голос, но какой приятный! Гордая... Длинные ресницы. Едва вздрагивают губы – не хочет улыбнуться и морщит лоб... Надо было представиться. Дурак!.. Почему не сесть на эту лавочку? Подумает, что нарочно сел так близко... Разве я виноват, что в саду так мало лавочек. Здесь – тень; а там скоро пропадет она... Сажу, исподволь бросаю взор на девушку в белом. Чувствует: поправила косу, перекинула ее за спину, подобрала ноги и еще больше нагнулась над книгой; чертит на песке зонтиком. А волосы на виске вздрагивают от ветерка и золотятся под опущенным полем шляпки. Золотая паутинка...

Амстердам, Гарлем, Саардам... Милая!словно цветочек с родных полей, куда я уеду сейчас же после зрелости. Ромашки, Васильки, Лютики... Я сплел бы тебе веночек из цветов родных полей и надел бы на твою золотистую головку. И ты перестала бы хмурить лоб и улыбнулась бы мне... А теперь не хочешь даже вскинуть глаза... Куда ты?!

Встала и пошла... Хочется тоже вскочить и пойти в ту сторону, куда пошла она... Кто она? Как ее имя? Где она живет?..

Я встал и смотрел ей вслед. Ушла, промелькнула в зелени деревьев и скрылась, а я подошел к лавочке, на которой она сидела. Что она тут чертила зонтиком?

– Зоя. Зоя. Зоя...

Ее зовут Зоей... Золотая Зоя! Какое нежное, бархатное имя! Я повторял это имя, и оно, как ветерок щеку, ласкало мою душу...

II

Зоя. Только три буквы, а когда их поставишь вместе, они делают чудеса... «Как прекрасен и богат русский язык!» – думал я, красиво выписывая это имя на листе бумаги, приготовленной для составления хронологии по истории всех времен и народов... Рано утром, едва раскрыв глаза, я распахивал окно в сад и шептал: «Здравствуй, Зоя!» Поздно ночью, когда затихал город и в мягкой тишине весенней, на крыльях теплого ветерка, над ним носились обрывки садовой музыки, я вглядывался в звездное небо и шептал: «Спокойной ночи, Зоя!»

Каждое утро, отправляясь на экзамен, я заходил в сад и проходил мимо той скамьи, на которой сидела Зоя. И возвращаясь с экзамена, я не мог не зайти туда и не посидеть на этой милой скамеечке. И все я ждал, не промелькнет ли в зелени стройная фигура девушки... Редкие проходящие женщины заставляли меня вздрагивать и пугаться... Опять не она! Пропала... Ах, белый голубь, куда ты улетел?..

Однажды, когда я, почти уже отчаявшись увидеть белого голубя, уныло бродил по саду с «Историей средних веков» Иловайского, навстречу мне показалась шумливая стайка гимназисток, с аккуратно завязанными в ремни книгами. Как стая птиц: без умолку щебечут, смеются и звенят радостными голосами... Зоя! Она!.. Она!.. Будь, что будет...

– Здравствуйте!

Поднял шляпу и протянул руку. Покраснела, немного растерялась, но руки не отвергла, спросила:

– Кончили?

– Почти... Одна история и – созрею...

Гимназистки пропустили нас вперед и, идя позади, тихо посмеивались и переговаривались между собою. Зоя шла, опустив голову, и односложно отвечала на мои вопросы о том, где она будет жить летом, что ей больше нравится: сирень или черемуха, как ее величают.

– Зоя Сергеевна, я так долго ждал.

– Чего?

– Встречи...

– С кем?

– И вы спрашиваете!..

Догадалась, вспыхнула и, обернувшись, заговорила с подругой... Теперь я шел, понуря голову, и тщетно искал выхода из безвыходного положения. Всего лучше было бы откланяться и отойти. Но какая-то сила, властная и непоборимая, мешала мне сделать это. И я шел, как привязанный на веревочку, рядом и напрягал все умственные способности, чтобы сгладить неприятное впечатление от своей неудачи. Понемногу и как-то незаметно отстали все другие, и мы с Зоей очутились вдвоем. Долго мы шли молча, словно просто попутчики, но вот в моих ушах зазвенел смех:

– Я дома... До свидания!

Она протянула мне руку и скрылась в калитке. Я тяжело вздохнул, снял шляпу и отер со лба холодный пот безвыходности. Оглядел с головы до ног дом, где жила Зоя, прочитал Но, фамилию домохозяина, заглянул во двор... Там, за палисадником – одноэтажный приземистый флигель в три окна... Так вот где скрывается мой белый голубь с толстой золотой косой!..

Дома учил хронологию и зудил «средние века», а мысль упиралась и настойчиво возвращалась в тот век, в котором я встретил Зою.

«Итак, – говорил я, – скажите мне, чем замечателен Пипин Короткий»? Но, вместо Пипина Короткого, выплывал образ стройной белой девушки, и я растерянно мычал:

– Пипин... Пипин... Короткий... Почему Короткий?.. Скажите, Зоя Сергеевна, чем замечателен Пипин Короткий?.. Ах, чёрт бы тебя, Пипин, взял!.. Барбаросса... Карл Смелый... Карл Лысый... Карл Святой... Нет Карла Святого, – Святой Людовик!.. А Людовик Лысый был? Кажется – был, а впрочем... Голова болит. Пойду в сад, а потом уж – Пипин... Я бросил историю и шел в сад мимо дома № 15. Это было не совсем по пути, но зато сильно увеличивало шансы на встречу с Зоей. А я изныл, ожидая этой встречи. Проходя мимо дома, я замедлял шаг и мимоходом бросал взгляд в калитку. В саду сидел все на той же лавочке и ждал, словно мне было обещано свидание. Но вот однажды, когда истощилось мое терпение, я снова рискнул на отчаянный шаг:

с восьми часов утра, я встал на дежурство к воротам дома № 15. Теперь свидание обеспечено: она пойдет в гимназию через эту калитку...

Стою на другой стороне и томлюсь. Поглядываю на часы... «Однако не торопится».

– Ах ты... сонливая!..

Вышла. Так неожиданно, словно выпустили птицу из клетки... Сменяю торопливость солидным крупным шагом делового человека, перебираюсь на другую сторону и иду по следу. Покашливаю.

– Зоя Сергеевна!

– А, вы!..

– Я! Могу пройти с вами?

– Конечно.

– Дайте понести мне ваши книги.

– Мне не тяжело.

– Дайте пожалуйста!

– Если вам так хочется...

– Очень хочется!..

Получил книги и понес их, как святыню... Золотая коса. Синие глаза. Почему когда смотришь на вас, то забываешь о всех Карлах, Пипинах и о всех Людовиках, сколько бы их ни было на свете?..

– У вас золотые волосы...

Зоя гордо встряхнула головой и чуть-чуть улыбнулась.

– Я теперь часто вижу вас во сне.

- Один раз и я вас видела...
- Неужели? Как я счастлив!..
- Я о вас не думала... Не знаю, почему... приснились...
- Я постоянно думаю о вас...
- Слышите, как пахнет апельсинами?
- Кто-то играет увертюру из «Кармен»...

Утро было прекрасно; из раскрытых окон неслись то гаммы, то обрывки знакомых пьес; пахло апельсином, сиренью, травой, медом... Люди шли какие-то свежие и радостные, бодрые, и все улыбались. И я, люди, счастлив: мне улыбается Зоя! Теперь она в коричневом платье, а всё-таки кажется мне светлой, белой, как белый голубь с коричневыми подпалинами... Отчего?.. На ней – белый фартучек.

Как скоро: уже дошли до гимназии.

- Ну, давайте книги!

Не хочется отдавать книги. Милые книги: их перелистывают Зоины руки.

- Ну, скорей! Опоздаю на молитву...
- Как я хотел бы помолиться вместе с вами...
- Какой вы богомольный!..

О, как она мне улыбнулась! Если бы вы знали, как она мне улыбнулась! Закружилась голова от этой улыбки: поцеловал книги и отдал.

- Возьмите! – сказал я и вздохнул.

Пошла, обернулась, на мгновение задержалась в дверях.

- Зоя Сергеевна! Когда увидимся?

Не слыхала...

III

...Уж если повалит счастье, так со всех сторон: свалились с плеч все Пипины, Карлы и Людовики... А вечером занимаюсь с Зоей по алгебре... Не понимает решения уравнений со многими неизвестными. А это так просто... Есть два способа... Звали сегодня на пирушку товарищи (ведь все мы сегодня созрели!), да уж, верно, после алгебры... Взял алгебру и так любовно развернул ее, словно сто лет ждал этого случая. Трепетно ищу уравнения!.. Вот они, голубчики! Так... Икс, игрек, дзет... Пишу икс, а с бумаги смотрит на меня друг и брат...

- Обедать!
- Некогда.
- Разве ты не совсем созрел?
- Окончательно созрел. Бесповоротно.
- Так на кой чёрт тебе эти иксы с игреками?
- Простая любознательность.
- Простынет суп.
- Ну и чёрт с ним! Икс равен игрек плюс дзет минус абе, деленному на... на... на...

...Простыл суп. Чёрт с ним, с супом: через два часа – урок по алгебре... Что же, я не лишен педагогических способностей. Но какая ученица! Всю жизнь можно просидеть за алгеброй и не почувствовать к ней ненависти. В ожидании уро-

ка я деловым шагом меряю комнату и гордо говорю:

– Квадратные уравнения со многими неизвестными решаются двумя способами. А именно...

И представляю себе слушающую ученицу, объясняю, как именно они решаются...

– Не так, Зоя! Не так, голубчик.

– С кем ты разговариваешь?

– Так... сам с собой...

– Не спятил ли от зрелости-то?

Солнышко спряталось за крышами. Протянулись долговязые тени по лужку двора. Уплыл куда-то резкий шум улиц... Только со двора несется задорный крик ребятишек, азартно сражающихся в бабки: звонко стучат кости и плитки, а потом – взрыв криков, смеха и брани... Нет сил ждать. Лучше пойти потихоньку, прогуляться... Не беда, если придешь немного раньше... Зоя живет самостоятельно: на квартире. Кому какое дело! Для собственного ободрения громко кашлянул и, набросив на голову, по возможности небрежнее, шляпу, с папиросой в зубах для наглядного показания своих прав «созревшего», отправляюсь на урок, с алгеброй в одной руке и с корявой палкой – в другой. Прохожу мимо дома № 15 – раз, другой, третий, заглядываю в калитку и решаюсь переступить ее и войти во двор. Немилосердно бьется сердце. Почему? Ведь я не вор, не преступник... Я иду с добрым намерением – помочь в алгебре... Почему влажен лоб и руки? Неряха: не догадался вымыть рук. Чу! – это ее голосок. Сде-

лал серьезнейшее лицо и двинулся вперед.

– Ну, вот и я. Здравствуйте, Зоя Сергеевна!..

Смутилась, вспыхнула румянцем и сказала:

– Страшно что-то. Вы – строгий?

– Я? Строг, но справедлив.

– Я – бестолковая... Предупреждаю...

– А вот увидим...

– Хотите, будем заниматься в палисаднике? Там есть стол-лик...

– Прекрасно! Это очень хорошо...

– Ну, тогда идем...

Палисадник маленький, но густой, с старыми березами и акациями. Уголочек большого сада. Стол – под навесом переплетшихся ветвей. Немного сумрачно. Видно окошко Зоиной комнаты, с белой занавеской, с букетом лиловой сирени на подоконнике... Уселись друг против друга, раскрыли алгебру.

– Итак, уравнения со многими неизвестными...

Говорю как профессор: гладко, без запинок, с уверенностью. Не смотрю на ученицу, а так, больше чувствую, что она, облокотясь на локти, смотрит на меня и внимательно слушает... Переходим к решению задач:

– Берем сперва с тремя неизвестными: x , y , и z .

Тут уж ничего не поделаешь: надо сесть рядом. Зоя подсе-
ла ко мне и опустила головку над x и y . Что со мной? Почему прыгают неизвестные величины? Я весь

во власти обволакивающей меня паутины, невидимо исходящей от белой девушки... Это не чувственность. Нет, это что-то чистое-чистое, как лучи солнца, долго прятавшегося в тучах ненастья и вдруг выглянувшего и облившего и тело и душу сверкающей лаской и предчувствиями какой-то новой радости... Мое солнце! Оно так близко. Иногда его горячее дыхание струится на щеку, и тогда совсем исчезают на бумаге иксы и игреки... Вот рука, с тонкими, длинными пальчиками, ложится на бумагу:

– Почему икс равен игреку плюс 562 минус игрек квадрат, деленному на...

Боже мой! Почему? Ничего не понимаю...

– Как почему? Очень просто...

Начинаю писать что-то многоэтажное и путаюсь в кружевах иксов, игреков, дзетов, в плюсах, минусах, квадратах... А упавшая с плеча коса золотится на столе, под самыми иксами... Пытаюсь выпутаться из получившейся вермишели из неизвестных и чувствую, что гибну.

– Я – бестолковая... – шепчет Зоя, с обидой, почти со слезами в голосе!..

– Попробуем обратиться к другому способу...

Маленький перерыв...

– Устали?

– Немного.

– Бедненькая!

Рука бессильно лежит на бумаге. Голова откинулась к

стволу старой березы. Синие глаза смежились. А на лице – виноватая улыбка страдающего самолюбия. Бесконечно жаль! Проклятые иксы и игреки! Я коснулся бессильной руки, она вздрогнула пальчиками. Раскрылись синие глаза, ласково сверкнули мне и прикрылись тонкой рукой...

– Слышите: в саду уже играет музыка! – печально сказал девичий голосок.

Алгебра раскрыта, с укоризной смотрят с бумаги иксы и игреки, а из сада доносится музыка.

– Из «Кармен»... Тореадор...

Зоя грустно подпевает:

– «Тореадор, смеле-э-йе... Тореадор»...

– Ну, давайте по другому способу... – неожиданно оборвала она пение и вздохнула: – Вы умный, а я...

– Иксы еще ничего не доказывают. В ваших глазах...

Что-то хотел сказать глубокое и поощрительное, но не вышло: запутался в красноречии. Сели опять рядом и приступили к другому способу. Легкий способ! Быстро поняли и оба засмеялись от удовольствия...

– Вот видите: а говорили, что бестолковая!

– Вы прекрасно объясняете. Спасибо!

В саду играли еще «Тореадора», и когда милая ученица протянула мне руку в знак благодарности, я приложил ее к губам и обжегся...

Зоя закрылась рукою и, погрозив пальчиком, ласково прошептала:

– Не надо!

– Хотите, Зоя, вернемся к первому способу?

– Завтра. А сегодня... Что-то мне хочется послушать музыки.

– Прекрасно!

Она вскинула на меня синие глаза и вдруг потупилась...
Словно сказала: «Победитель ты, Галилеянин»!

– В сад?

– Да. Я – сейчас... Переоденусь...

Убежала. Хожу по дорожке вокруг двух старых берез и ликует моя душа, и хочется на весь мир засмеяться от счастья...

– «Тореадор, смелей-е, Тореадор, Тореадор! Помни что»...

– Я готова.

Милая! Как к ней идет голубенькая вуалетка! Цветок с родных полей. Взял бы тебя на родину, привез к матери и сказал:

– Мама, вот моя невеста!..

И все, в восхищенном восторге, воскликнули бы:

– Боже мой, как она красива!..

Я шел и потихоньку любовался ею. А она это чувствовала: улыбка не сходила с ее лица, и светлая гордость сияла в нем в розовых сумерках тихого вечера...

Гуляли по безлюдным аллеям, избегая встреч и докучливых вопросов. Никого нам не было нужно и нас – никому.

Одни и вместе... О чем говорили? О голубой вуалетке, о том, как странно, что мы встретились вот на этой самой аллее, чужие, далекие, а теперь...

– А теперь?..

– Теперь мне кажется, что мы с вами, Зоя, знакомы сто лет...

– Через сто лет нас не будет...

– А мне кажется, что мы никогда не умрем, а будем жить вечно... На этой лавочке, где вы, Зоя, тогда сидели, я часто потом сидел и думал: есть судьба, которая управляет человеком... Ей, судьбе, зачем-то понадобилось столкнуть нас.

– А вы недовольны?

– Благословляю!

– Да?

– А вы, Зоя, сомневаетесь? Благословляю и этот сад, и эту аллею, и тот день... И алгебру!

– Алгебру!

– Да, и алгебру...

– Дайте руку: кто-то идет, я боюсь пьяных...

Я подал ей руку и почувствовал, как Зоя прильнула ко мне плечом – благодарно и доверчиво...

– Зоя! Зоя! Если бы вы знали!

– Не надо говорить... Я знаю.

– Да?

– Да.

IV

Алгебра прошла благополучно, диплом о зрелости был в кармане, а я не уезжал на родину... Мы решили ехать по Волге вместе, а у Зои оставалась еще геометрия...

– Можно вам помочь по геометрии, а то скучно болтаться...

– Я геометрии не боюсь...

– Нельзя? Окончательно?

Я смотрел так умоляюще, что Зоя покачала головой и сказала:

– Разве... Я не совсем понимаю объем усеченной пирамиды...

– Ну вот. Отлично! Пройдем и разберемся.

– А там... и конец... Еще три дня.

– Так завтра прийти?

– Хорошо.

Два дня я мешал Зое заниматься геометрией. На третий она отказалась от моей помощи.

– С вами хуже...

– Я не буду мешать. Я сяду в уголке и буду слушать и смотреть, как вы занимаетесь.

– Нет.

– Окончательно?

– Да.

– Ну, а как же завтра.

– Пойду сдавать, а послезавтра поедем...

– Перепутал... Я думал, мы едем завтра... На «Самолетском»?

– Да. Уходит в семь утра...

– Значит, до парохода не увидимся?

Зоя отрицательно качнула головой и сказала, понизив голос.

– До Симбирска вместе, а там... я слезу, а вы – дальше...

И радость и горе... вместе... Я крепко пожал руку девушки и почувствовал ее ответное пожатие...

– До свидания!

...Томительно тянется день, какой-то ненужный, лишний день в жизни, день который не знаешь, куда девать. О, с какой радостью я подарил бы его тому, кто дорожит каждым днем жизни! Возьмите его!.. Вот идет старенький чиновник и ведет за руку весело лепечущего ребенка. Очевидно, дедушка и внучек. Возьми, дедушка, мой лишний день! – ведь тебе дорог уже каждый час, отдаляющий тебя от смерти, а мне... я вычеркиваю его из своей жизни: сегодня я не вижу Зои... И завтра тоже не увижу: возьми и «завтра»! Нет, «завтра» не отдам: утро мудренее вечера...

А вечер дивный. Горят в окнах призрачные огни заката, и кажется, что это не дома, а замки, в которых пируют рыцари, с красными огнями пылающих факелов... Горит на горе золотой купол собора, словно обломок солнца упал с розово-

го неба... Музыка гремит в далеком саду и тихо струится из раскрытых окон: та – зовет на пир, а эта – к тихой, нежной грусти... Снова и грусть, и радость: скоро я буду ехать по родной Волге с любимой, с моим белым голубем, но скоро же и улетит он, белый голубь, от меня... Был в саду и облегчил свою душу воспоминаниями, походил по той дорожке и посидел на той лавочке, где встретился и сидел с Зоей. Послушал грустный вальс, который играл про мою тоску и про мое одиночество, и медленно побрел по улицам, по направлению к дому № 15... Только загляну в калитку и пройду, посмотрю на старые березы, под которыми занимался алгеброй, и скроюсь. Никто не увидит и никто не узнает...

Иду и живу одним ожиданием скорой близости к заветному дому... Вот и улица, лучшая теперь для меня улица во всем городе. А вон и дом, ворота и калитка!.. Замедляю шаги, а то пройдешь – и всё кончено: неловко несколько раз заглядывал в калитку... А вдруг... Хотелось верить в чудо, в Божью помощь. Вдруг из калитки выйдет Зоя? Нет! Пусто... Заглянул; сквозь листву берез и акаций светится в невидимом окне огонек: не спит. На белом фоне занавески шевелится темный профиль... Она: милый профиль любимого лица!.. Проклятая собака залаяла, – думает вор.

– У, дура!

Быстро вышел из калитки и пошел прочь. А собака провожает лаем.

– Да будет тебе, проклятая!

Прибавил шагу и завернул за угол.

– Ух!..

Остановился снял шляпу и, посмотрел в небо. Уже заискрились звезды. Ах, как сильно откуда-то наносит сиренью!.. А музыка в саду поет кларнетами: «Эх, ты ноченька», жалобно, словно плачет... жалеет меня, одинокого...

– «Только был один да мил-серде-ееченный друг...» – подтягиваю кларнетам, а они отвечают мне:

– «Да и тот забыл меня, горькую...» «Подлец» – браню «мил-сердечного друга» и горжусь силой своей любви: я никогда не разлюблю белого голубя... это – немыслимо!..

Смолк город; задумчиво смотрит на него луна и всё думает о людях, которые спрятались в больших каменных домах, и которые одиноко бродят ночью по пустынным улицам... Медленно потухают звезды, а на кладбище поет соловей... О чем он поет мертвым!.. Быть может, соловей рассказывает им о том, что ничто не изменилось на земле с тех пор, как они зарыты, всё также любят и ненавидят, всё также смотрит на город луна с неба и серебрит купол старого собора... «Не завидуйте, мертвые! – говорит им соловей. – Все эти люди, которые сладко спят теперь в домах, и которые одиноко бродят по улицам, все обречены той же участи... И когда-нибудь вот этот юноша, который так счастлив теперь, что не может спать, будет гнить в земле, а другой такой же юноша будет ходить ночью по тихим улицам и не спать от счастья». И луна думает о том же!.. И звезды!.. И тихая, кроткая весенняя

ночь!..

– Куку-рекууу...

Запел петух где-то далеко. Который час? Считаю медленно плывущие с кладбищенской церкви удары колокола. Два. Крепко спит теперь моя Зоя и не знает, что я тоскую... Пойду домой.

Бледно-зеленое небо уже вздрагивало предчувствиями близкого солнца, когда я вернулся в свою комнату. Распахнул створки окна, постоял и послушал предрассветный шёпот в саду, за собором, сонное попискивание каких-то птичек, похожее на эолову арфу гудение телеграфных проволок на столбе под окном, глубоко медленно вздохнул и, прошептал: «хорошо на свете!», стал раздеваться... Лег, вытянул усталые ноги и, умиротворенный сознанием, что я любим, перекрестился.

– Благодарю тебя, Господи!

Закрыв глаза, улыбаюсь своему счастью и отдаюсь неясным, легким трепетам души, словно слушаю далекую, нежную музыку...

Не спал, а плавал на золототканых грезах дремотной фантазии полюбившего, любимого и юного... Сны голубые, белые, прозрачные и пугливые... Синие глаза, золотистые волосы, опущенные ресницы, улыбка на розовых, как утренняя заря, губах... Всё плывет в дремотном тумане и сливается с шёпотом деревьев в саду, за забором, с щебетанием просыпающихся птиц и запахом умывающейся росой сире-

ни...

– Благодарю тебя, Господи!

Заснул сладко и крепко и спал, как хорошо накормленный матерью грудной младенец. Заползла муха в раскрытый рот – разбудила...

Город шумит, поет, торопится, бранится. Трещат на мостовой кованые железом колеса, кричат продавцы зелени, молока, мороженого, гнусаво поют стекольщики и угольщики, ругаются на дворе соседние по квартирам кухарки, кудахчет курица, дерутся воробьи, где-то звонко колотят молотками каменщики. Солнце смеется в окно...

– Эх, проспал: Зоя теперь уже на экзамене, не поймаешь ее у калитки!..

Умылся прямо из водопроводного крана: вода – как лед. Окатил ею голову – приятно. Словно новая голова выросла, умная и бодрая...

Выпил у раскрытого окна стакан чаю с душистым лимоном и мягкой, вкусной булкой и начал укладываться. Разбирал учебники, одни откладывал – можно продать букинистам, – а другие бросал на пол, и они валялись там, как трупы в мертвецкой... Ах, алгебра!.. Раскрыл алгебру на квадратных уравнениях и, поцеловав иксы с игреками и дзетами, любовно уложил в чемодан... Напевал: «Прощай, милая, надолго, навсегда, уезжаю я в низовы города», рвал конспекты, хронологии, сочинения по русскому языку, тетради с экстернаторалиями...

– Ах, Пипин Короткий! Мое почтение! Как поживаете, чёрт бы вас подрал!

В клочки рвал «Историю средних веков» Иловайского и приговаривал:

– Вот так! Вот этак! Карлы, Людвиги, Хлодвиги, Святые, Лысые, Толстые, Благочестивые!..

– Войдите!

– Вам письмо.

– Ага!

От мамы... «Милый Геня! Почему ты молчишь? Мы беспокоимся: не провалился ли ты из проклятого латинского или греческого»...

– Списал, мама, на четверку!..

«Ради Бога телеграфируй, здоров ли».

– Здоров, милая мамочка, и счастлив... Очень!

«Сегодня видела сон: будто ты пришел домой худой, истерзанный, и говоришь: „прощай, мама, я умер“»...

– Жив, мама, жив! и даже очень!..

«У нас гостит твоя троюродная сестра Калерия, которую ты никогда еще не видал».

– Да нет и особенного желания, мамочка!

«Красива, но взбалмошна, бросила мужа и с ребенком прикатила к нам. Ни капельки не тоскует: поет и хохочет, как девчонка, а ей уже двадцать четыре года. Ждет тебя – хочет, зачем-то, учить латинский язык... Вообще – пустая особа, и я очень не рада этой гостье: безцеремонна и беспардонна». –

Ну и чёрт с ней!..

V

– Прощайте!

Всё ли? Чемодан тут... Подушка с одеялом... Палка...
Плед... Гитара...

– Трогай!

Мягко покатилась пролетка по лужку двора и потом громко застучала по мостовой. Ну, слава Богу! Всё идет прекрасно... Как приятно уезжать... С любовью смотрю на знакомые улицы, на прохожих и проезжих: так бы и раскланялся! Вон знакомый крендель над булочной. Вон «Парикмахерская», где меня стригли... Театр, почта, золотоголовый собор, сад...

– Прощай, сад! Спасибо!

Выехали из города; потянулась слобода с шумливыми мелочными лавочками, трактирами, пивными, ломовыми извозчиками, безграмотными вывесками... Вон: «Карасин, Паперосы, а также Чай и Кофей»...

– Прибавь! прибавь! Опоздаем. Пароход уходит в восемь.

– На этот опоздаешь, на другой попадем! Их много отходит...

– Мне нельзя на другом, а надо на «Самолет».

– Уже близко пристани: клубится дым пароходных труб, гудят свистки, то басом, то дискантом, обгоняют спешащие на пароходы пассажиры... Скорей! Подскакиваю на пролетке, помогаю лошади и тычу в спину извозчика...

– Тпру!

– Вишь и не опоздали. Зря горячился, гнал... За это надо прибавить.

– Матрос, на пароход!..

Матрос забрал в руки всё мое имущество, и мы торопливо зашагали по скрипучим мосткам.

– Какой пароход?

– «Гоголь».

– Свисток был?

– Два. Сейчас отваливает...

Торговцы, рассевишиеся вдоль мостков, хватают за полы и за руки, предлагая колбасу, семгу, булки, чулки, гребешки...

– Куда мне к чёрту!

Гудит последний свисток, а они... Вот дурачье. Дорогу!

...Уф! Наконец-то! Теперь уж спокойно. Она где-нибудь здесь... Да вон она, у перил балкона!.. Внимательно ищет кого-то глазами, ждет и страшно волнуется... Конечно, меня. Милая, как она волнуется! Не спешу успокоить: очень уж радостно видеть, как она ждет меня. Снимают трап. Зоя перегнулась через перила. Оглушительно зашумел под колесом пар, пароход вздрогнул и стал медленно отдаляться от пристани... Что с ней? Отирает платочком слезы...

– Зоя!

Обернулась и радостно схватила за руку, а в глазах – слезы...

– Вы здесь? Когда? Как же это так... Я проворонила вас...

Звонко смеется, лицо рдеет румянцем, и не знает, что еще сказать.

– Вы... плакали, что ли?

– Нет... О чем мне плакать?... Что-то попало в глаз...

– Не надо тереть...

– Вы во втором классе?

– Да. А вы?

– Я – тоже.

Улыбнулись друг другу и стали быстро ходить по балкону вокруг парохода...

– Ах, как я люблю Волгу и пароход! А день-то какой! Как стекло вода... Чайки! Давайте кормить, чаек!

Мы бросали чайкам кусочки белого хлеба, и чайки на лету ловили их, ныряли в воздухе над кормой парохода и дико вскрикивали, встряхивая крыльями... Кругом налаживалась своеобразная речная жизнь: под шум хлопающих по воде колес пассажиры читали, дремали, слонялись по палубе, распивали чай, позванивали посудой и ложечками, а некоторые уже аппетитно поедали рыбные солянки и сочные бифштексы с кровью... Бегали в запуски звонкоголосые ребятки, где-то внизу повар рубил «под польку» котлеты и, как улей, гудел чернорабочий люд... Надоело Зое кормить чаек.

– А, знаете, я сама непрочь бы покушать.

Уселись в рубке и стали совещаться, что бы заказать на завтрак... И во всем мы находили повод смеяться, радоваться, и, должно быть, наши глаза не могли скрыть того, что

было в сердце: когда я в ожидании завтрака, пошел к себе в каюту, чтобы придать своей шевелюре наивозможнейший поэтический вид, лакей постучал в дверь, приоткрыл ее и сказал:

– Супруга вас ждут кушать!

Это была столь приятная неожиданность, что я не стал опровергать ошибки:

– Скажите, что я сейчас приду...

– Слушаюсь.

Кушаем. Изредка взглядываем друг на друга и смущенно улыбаемся. Зоя хозяйничает, угощает... Наклоняясь друг к другу, тихо подтруниваем над пассажирами, вскакиваем смотреть на встречные пароходы, машем платками и снова бежим к столу... На нас смотрят с завистью одинокие мужчины и заглядываются на мою золотоволосую спутницу... Нахалы! Злобно бросаю на них уничтожающие взгляды, прошу Зою сесть к ним спиной. Слава Богу, поняли, болваны, что рискуют нарваться на человека, который не привык шутить. Я называю мою милую – Зоей, она меня – Геннадием... И в этом – неизъяснимая прелесть. На «вы», но без величания – и в этом есть красивая-простота, и чистая близость, и бережное отношение к своему счастью... Мягко вздрагивает пароход всем корпусом, и весело позванивают на столе бокалы и рюмки. Я прикрыл лицо рукой и смотрю через промежутки пальцев на Зою... Боже мой, какая это красота! Не оторвешься. И опять всего меня обволакивает излучение

этой красоты, как во время занятия алгеброй, в палисаднике. Я опьяняюсь этой красотой и тону в ней, растворяюсь...

– Геннадий! Вы о чем, задумались?

Дает же Бог человеку такой голос! Сердце сжимается от этого голоса.

– Благодарю Тебя, Господи! – шепчу я и, отняв от лица руку, не могу оторвать глаз от девушки.

– Вы молитесь Богу?! А стерлядь в томате? Не хотите?

Даже о стерляди у нея выходит поэтично и удивительно мило.

– Стерлядь... Буду, буду!.. Разве можно отказываться, когда вы говорите о стерляди?..

Протяжно загудел свисток парохода: пристань... Оба вскочили из-за стола... Зоя подхватила меня под руку, а рука ее прикрыта концом накинутой на плечи толковой тафты... В дверях наскоро отодвинул шолк и на одно мгновение коснулся тонкой руки губами. Не заметила, а, может быть, не хотела заметить: иногда в ее глазах сверкал хитрый огонек... Стоим у перил и смотрим на суетню по берегу. Рядом стоит пожилая женщина в платочке, с сочувственной улыбкой смотрит на нас и ласково спрашивает?

– Молодожены вы, что ли?

Зоя покраснела и, отвернувшись, сморщила лоб и пристально уставилась на береговые горы, а я покачал отрицательно головой...

– Сестра? Больно уж дружны. На редкость... Теперь бра-

тять-то с сестрами, как собаки с кошками, а вы... Даже приятно смотреть. У нас чтобы брат сестре когда-нибудь руку поцеловал, этого никогда не увидишь!..

Зоя убежала в рубку и, когда я вернулся туда, надула губки и не смотрела на меня... Подошел лакей, с салфеткой подмышкой, и спросил:

– Кофе или чай прикажете?..

– Кофе.

– А вашей супруге?

Зоя вскочила и убежала в свою каюту...

– С чего вы взяли, что это – моя супруга?

– Виноват-с!.. Я так полагал... Ошибся...

– Идите! Ничего не надо. Не пожимайте пожалуйста плечами!..

– Я не пожимал-с...

– Нет, пожимали! И опять пожимаете...

– Это по привычке-с.

– Очень скверная привычка.

Я сердито бросил нож и вышел из-за стола. Испортили отношения. Мерзавцы! Какое им дело: муж я, или брат, или сват...

Я ходил кругом парохода и искал Зою... Скрылась... Стоит обращать внимание на такую глупость!.. Эх! Спряталась. Рассердилась. На что? Разве я виноват?.. Ну, извини, прости, пожалей...

А время бежит. И так недолго быть вместе, а тут еще эта

история... Где ее каюта? Иду и прикидываю умом, которое окно ее каюты... Вот это!.. Слегка, осторожно, боком взглянул на окно, и вдруг оно опустилось и стукнуло: закрылось решеткой... Как это понять? За что? У меня навернулись слезы и весь я как-то разом ослабел и упал духом... Неужели всё кончено? Я присел на лавочку, под Зоиним окном, опустил голову и закрыл глаза. Мерно вздрагивал я вместе с пароходом, и в голове моей носились мысли о том, что нет на свете ничего прочного и вечного, и что не стоит жить... Эх ты!.. А я думал, что ты, действительно, любишь сильно и красиво... Не любишь!

Опять ходил кругом и снова присаживался под загадкой захлопнутого окна. Не открывается. Постучать? Неудобно и обидно: я не нищий, просящий подаяния, а... Я не находил для себя подходящего определения... Все слова казались маленькими или пошлыми...

Опять гудит пароход, опять пристань, суетня, ругань грузчиков, торопливая команда капитана, свистки, грохот сходней, и пароход снова бежит в голубую даль водяной равнины, туда, где на высоких горах стоит белый в зелени город Симбирск... Там с парохода сойдет мой чистый белый голубь и оставит меня с моей тоской и разбитыми грезами... Не беги так быстро, пароход! не гонись за быстротечным временем! Ты снова вернешься к этим берегам, а мое счастье унесешь, и оно не возвратится. Быстро несутся полые воды разлившейся Волги, крутятся водоворотами, пенятся мохнатой пеной

под кормою и помогают пароходу догонять время... Нельзя остановить... Что же делать? Что делать?.. Господи, помоги мне!

Я ушел в свою каюту и написал на клочке бумаги: «Кто любит сильно, тот ничего не боится. Я не виноват, что не мог скрыть от шпионов своей любви. Да и зачем, любя, притворяться, что не любишь? Я должен знать: любим мы друг друга или притворяемся?». Побродив по коридорчику, я выбрал момент и втолкнул записочку под дверь Зоиной каюты... Хожу вокруг парохода и, как преступник – приговора, жду ответа. Сел под окошечком, за которым будет произнесен приговор над моим счастьем, и спиной, через стенку каюты, ловлю каждый шорох, каждый звук там, за стенкой... Что это? Смех? Издевательство? Не может быть!.. Кровь бросилась в лицо, а потом захотелось упасть на лавку и разрыдаться. Но за спиной раздался осторожный стук и шорох отодвигаемой решетки, и я вздрогнул словно от электрического удара, но боялся обернуться.

– Милый, мне стыдно... – прошептал кто-то сзади, и снова стукнула оконная решетка... Я быстро обернулся к окну, но было поздно. Неудержимая радость хлынула в мою душу и затопила ее до краев. Я вдруг расхохотался, сорвался с места и стал, как сумасшедший, кружиться по палубе.

– Какой я идиот! какой идиот! какая дубина! – вслух бранил я себя и, выбрав момент, когда вблизи никого не было, проворно перекрестился и прошептал:

– Благодарю Тебя, Господи!

И опять засверкала Волга под солнцем, и засверкала моя душа, и запрыгало сердце...

– «О, Волга, колыбель моя! любил ли кто тебя, как я?» – декламировал я, стоя на носу парохода под теплым встречным ветерком, трепавшим мои волосы под широкополой шляпой, и радостно и жадно смотрел вперед, навстречу своей судьбе...

Однако время уходит... Близится вечер: под горами уже легли на воду тени... Опять загудел пароход: пристань... Как часто!

VI

«Солнце село, до Симбирска всего пять-шесть часов езды, а ты... Ведь – „ты“? да?.. а ты прячешься. Времени осталось мало, а нам так много надо сказать друг другу... Я жду и тоскую» – моя записка.

«Пусть немного стемнеет, я надену другое платье, покроюсь платочком и сяду на корме. Ты придешь. З.» – ее записка.

«Не могу ждать. Открой хотя наполовину окно каюты, а я сяду под ним. Если не откроешь – значит мало любишь. Г.» – мое возражение.

В ответ стукнуло окошечко, и в его рамке нарисовалось пунцовое от стыда личико с опущенными ресницами... Даже уши горели под золотом волос. И смущенная улыбка чуть-чуть шевелила губы.

– Нехорошо так думать, как... вы.... обо мне...

– «Вы»?

– Ну... ты...

И отвернулась...

– Можно к... тебе?

– Нет, нет...

– Ну, сядь хотя к окну!..

– Мне стыдно говорить «ты»... Я... люблю... но говорить так... не могу...

Милая!.. Почти плачет... Ну, Бог с тобой, будем опять на «вы»!..

– Сядьте к окну. Я прошу вас, Зоя Сергеевна!

– Хорошо. Но вы... рассердились? да?

– Да нет же, нет!

Уселись: я под окном, она – у окна. Тихо, не глядя друг на друга, переговариваемся:

– Еще несколько часов и – прощайте! Надолго...

Вздых. Молчание.

– Забудете?

– Нет. Будем переписываться...

– Я буду тосковать и жить только вашими письмами.

– Зажигают маяки...

– Как красивы эти красноватые и желтые огоньки над фиолетовой водою! А горы уже нахмурились.

– Вы, Зоя, долго пробудете в Симбирске?

– Нет, сейчас же уеду: там будут ждать лошади... Прямо с пристани в тарантас и...

Вздых. Молчание.

– Я тоже буду скучать по вас, Геннадий.

– Милая! Протяни мне руку.

– Боюсь – увидят...

– Ради Бога! Люди далеко...

Тихо дотронулась до моего плеча, и щека моя ощутила теплоту и слабое прикосновение. Я закрыл глаза и, повернув голову, коснулся руки губами.

– Идут.

Синим и розовым туманом подернулись речные дали. Яр-ко краснел маяк в луговой стороне. На кожухе парохода зеленеет отблеск сигнального фонаря; на мачте, высоко под небом, как звезда, лучится синеватый электрический огонек. Темной стеной бегут в темную даль прибрежные горы... Уже доносятся с них обрывки соловьиных песен. Из горных оврагов порой, вместе с влажной прохладой, прилетают пряные запахи цветущей земли... На пароходе стихло: одни поддались нежной грусти и мечтательности; другие, плотно пообедавши, спали по каютам. У всех уже пропала любознательность по отношению друг друга... Я ходил, напевал: «Что же не приходишь, мой неверный друг?» и поглядывал на светящееся занавешенное окошечко... Погасло: значит переоделась и сейчас выйдет... Обогнул нос парохода и потянул на корму. Она!.. Как молоденькая послушница из монастыря... Темненькая, скромненькая, кроткая... кутается в шаль, прячет милое личико и подбородок, а глаза потемнели, как небо, и сверкают, как звезды. Золотистая прядь волос бьется над головой и во всей фигуре – затаенное ожидание...

– Как ты изменилась! Ты похожа на монашенку...

– Теперь никто не узнает...

Я сел рядом, совсем близко. Наши плечи касаются. Она еще больше спряталась под шалью. А шаль спрятала наши руки и они жмут друг друга и говорят о том, как мы счастливы. Проходят мимо люди и не видят, что наши руки спле-

лись и без слов рассказывают о тайнах взаимности...

– Любишь? – спрашивает моя рука.

– Крепко! – отвечает рука девушки.

– Не забудешь?

– Никогда!

– Счастье! Радость! Как передать тебе грусть и радость моей любви?

– Молчи, – я знаю...

– Зоя! посмотри, как смотрят на нас звезды!

– Им завидно.

– Слышишь, как грустит в лесу на горах соловей?

– О чем?

– О том, что скоро-скоро мы расстанемся...

– У-уууууу! – кричит свисток парохода, и испуганно сжимаются наши сердца мыслью: «скоро – разлука!». А в горах – это: «уууу!»...

Ночь, темная, безлунная. Только огромные звезды трепещут в темной синеве небес, мешаясь с огнями далеких встречных пароходов. Плотнее прижимаемся друг к другу, словно боимся, что Кто-то всесильный встанет между нами...

– Поцелуй меня!

– Опомнись! Что ты говоришь?!

А сама прижалась еще ближе и нервно вздрагивает и оглядывается по сторонам. Зачем? Боится ли, что кто-нибудь услышал неосторожное слово, или хочет и боится поцело-

вать? Кто скажет? Об этом знают только звезды, но они не скажут даже мне... Прошел какой-то одинокий человек и оглянулся на нас. Уходи! – не твое дело...

– Поцелуй!

– Потом... после...

– Не обманешь?

Пожала руку и шепнула:

– На прощанье! Пойдем пройтись... Тут – любопытные...

На прощанье!.. Опять защемило сердце... В загадочной зловещей темноте нагорного берега то мигали, то потухали искры огней, словно кто-то подавал условные знаки нашему врагу.

– Какая пристань?

– Симбирск! Далеко его видать: на горах он.

Мы прижались друг к другу и молчали, устремив взоры в темноту, где всё чаще вспыхивали зловещие огни невидимого города.

И любил я этот город, и ненавидел... Милый, родной город, береги мое счастье! Проклятый! – ты разлучаешь нас...

– Надо собираться, – грустно сказала Зоя и глубоко так вздохнула.

– Рано еще... Погоди!.. Я помогу тебе.

– У меня всё разбросано...

– Пойдем: не хочу смотреть на твой Симбирск!.. Взорвал бы твой Симбирск на воздух, а тебя увез бы с собой. Я тебя не пушу...

– Ой! больно руку... Надо собираться. Пусти!

Она забеспокоилась о вещах, заговорила о расплате с прислугой, о каком-то письме, о лошадях, которые должны ждать ее в Симбирске. Она уже наполовину была не со мной, и это больно обижало мое чувство. «Забудешь!».

– Что вы говорите?

– Опять – «вы»!

– Надо итти... Пока до свидания...

– А ты не забудешь?

– Что?

– Что – обещала.

– Что обещала?

– Эх, ты!.. Поцеловать...

– Да.

Выврала руку и побежала в свою каюту. А я подошел к окну с намерением полюбоваться на моего голубя последние минуты.

– Нельзя: у меня всё разбросано...

Окно закрылось решеткой. Я постоял пред темным окном и, отойдя к перилам, погрозил горящим в темноте светлякам-огням города:

– Проклятый!

А он не боялся и всё ярче и гуще разбрасывал свои огни на высоких темных горах.

– Вот и Симбирск! – произнес кто-то в темноте, с радостью в голосе.

– Ну, а что же дальше? – сердито бросил я в темноту.

– Ничего! Симбирск, говорю.

– Вижу. Не слепой...

– То-то и есть! Слезать мне.

– А мне какое дело? Сделайте одолжение, я не задерживаю.

– Уж, конечно, вас не спрошусь, а сам слезу... Губернатор какой!

Невидимый пассажир пошел в одну сторону, я – в другую..

– Зоя! Можно?..

– Ннн... ну уж ладно, идите...

– Давайте, я затяну ремни!

Схватил чемодан, злобно уперся в него коленом и, натянув ремень изо всех сил, оборвал пряжку.

– Эх, чёрт!.. пряжки! Ну, да обойдемся и без нее... Готово!

– Кажется, всё...

Зоя печально огляделась по сторонам, задумалась, потом посмотрела с жалобной улыбкой на меня. Вздохнула и повторила:

– Теперь всё...

И опустила голову... А я поднял голову, встряхнул волосами и взял ее руку.

– Ну, скажи мне что-нибудь на прощанье!

– У-уууу! – загудел свисток...

Зоя торопливо перекрестилась.

– Я жду...

Девушка рванулась ко мне и вдруг, закрыв лицо руками, остановилась. Я привлек ее к себе и поцеловал в щеку.

– Не забудешь?

– Нет.

– Уверена в этом?

Она не ответила, только кивнула и сконфуженно взглянула мне в глаза...

На палубе беготня, за окном – шум и перекрестный говор. Пристали.

– Пора!

– Пора.

– Милая, голубок мой!.. Пора.

– Надо матроса.

– Свободен? Бери вещи!..

– Ну, будь здоров, не грусти...

– Нет, нет, я провожу тебя... Человек! Перенесите мои вещи в эту каюту: я хочу – здесь, в твоей...

Гуськом спустились вниз по винтовой лестнице и с волною народа проплыли на пристань.

– Барышня! Барышня! Я – здесь...

– А, Семен! Приехал?

– С утра жду. Давай-ка вещи-то, сам донесу...

Семен отобрал у матроса вещи и поволок их на берег. Мы шли позади молча и не знали, о чем говорить... Загудел свисток парохода, я схватил обе руки девушки и стал их покры-

вать жадными, торопливыми поцелуями. Она приостановилась и, освободив руку, перекрестила меня:

– Иди, милый!.. Всё равно уж...

А в голосе – дрожь и близкие слезы...

– Ууу-у-у!..

– Прощай!

– Не забывай!

Расстались. Ушла и быстро исчезла в темноте... А я, вбежав на балкон парохода, долго вперялся в темноту ночи и жадно вслушивался: не звенят ли на горе колокольчики. Мешают: шумят, стучат, бранятся на пароходе и на пристани, дрожит и ворчит пароход, кто-то где-то плачет и кто-то смеется... И в третий раз загудел пароход, и гулким эхом отозвалась ему темнота: «у-у-у»!

– Прощай! Может быть, ты тоже смотришь с горы на огни парохода и говоришь мне «прощай»! – Да, ты смотришь, я это знаю, и думаешь обо мне... И, может быть, ты, как и я, оттираешь платком слезы...

Убегал пароход во мрак ночи, всё дальше и дальше... А я стоял и смотрел на мигающие мне огни города, отнявшего у меня любимую девушку. Но вот огни стали прятаться, редеть и потухать. Тьма и звезды, вверху и внизу – тьма и звезды!..

– Прощай!

VII

Жаркий полдень. Монотонно звенят колокольчики под дугой; еле перебирают лошадки ногами, подбрасывая пыль по дороге и поматывая мохнатыми головами в такт бегу. Покачивается плетушка из стороны в сторону, подскакивая на выбоинах, и голова откидывается назад и раскрываются глаза. Всё то же: бесконечные зеленые полосы, то узкие, то широкие, то бледные, то яркие, черная пахота, на горизонте – ветрянки-мельницы с простертыми к небу крыльями и кайма далекого леса... Все разомлели – и седок, и ямщик, и лошади: я – в сонной дрёме грежу о темной ночи на пароходе, о золотистой косе, о синих глазах; ямщик – в полной нирване; лошади, должно быть, мечтают о прохладной конюшне, душистом сене, овсе и холодной воде... Жарко. Раскрыв рот и распустив крылья, сидят на пахоте вороны и лениво, нехотя поднимаются при нашем приближении... И так идет час и другой... Вдруг лают собаки. Что такое? Раскрываю глаза: деревня.

– Какая деревня?

– Не узнал? Овинники!

– А Ключи?

– Проехали. Вон они где остались!..

Скоро дом. Улетает дрёма, мысли о родном доме начинают мешать мыслям о прошлом... Поднялись на гору, въеха-

ли в сосновый бор.

Здравствуй, бор! Ты всё тот же, так же вечно рвешься вершинами к небесам и ползаешь корнями по земле, протягиваешь на дорогу к людям свои мохнатые лапы и щедро разбрасываешь желтые смолистые шишки... Ты всё тот же, а вот я... я – другой! Раньше я больше всего любил побыть наедине с тобой, послушать, как ты шумишь в ветер и шепчешься с дождем. Больше всего на свете любил я тебя, ружье и собаку, белую умную Джальму!.. А теперь... Изменил я всем вам, больше всех и всего на свете люблю теперь одну девушку – ее зовут Зоей!..

– Зо-я! – закричал я в бор, и он начал шептать что-то, бросил в меня сухой желтой шишкой и ударил мохнатой колючей лапой по шляпе.

– Ничего, брат, не поделаешь: судьба!

– Ну-ну, шагайте по-лошадински! Недалечко уж... Дождичка бы, барин, надо...

– С удовольствием бы, да не могу, братец!..

– Хм... Чудной! Я про Бога, а ты... Что человек может? Пыль мы с тобой... Хм... Ехал я намеренно с вашей сродственницей, с... Как ее? Мудрено зовут. Чай, знаешь?

– А-а! С Калерией Владимировной?

– Вот-вот!.. Имечко придумали.

– Ну!

– Ну, разговорились. То да се... В Елшанке молодой мужик топором свою бабу зарубил... По этому случаю разго-

вор-то... – За что? – спрашивает. – С другим, баю, пымал, с парнем. – Кого – спрашивает – жалеешь: жену али мужа? – Я то-есть. – Мужа, баю. – Почему? – За ее грех, баю, страдание примет и на земли, и на небеси: здесь в каторге, а там в огонь вечный. А она, стерва, смертью, кровью своей на том свете оправдается: получила свое!..

– Ну!

– А она, это твоя сродственница-то, и говорит: коли мужа не любишь, так можно с другим... то-есть путаться... А Бог-то, баю! А что, бает, Он, Бог-то, исправник, что ли? Кого хочу, того и люблю... Это, бает, моя воля...

С этого начался наш разговор с ямщиком о любви.

– Одна любовь, барин, от Бога, а другая от чёрта. Коли заслужил перед Господом – Он тебе хорошую бабу предоставит, а не заслужил, за это дело чёрт возьмется...

– Ну!

– Он, чёрт-то, такую тебе подсунет, что либо сам повешишься, либо ее прикончишь. На земле всю жисть промашешься, да и на тоём свету поплачешь. Баба, брат, дело серьезное!..

Захотелось мне сказать ямщику, что я уже полюбил, что я уже получил от Бога «бабу» и счастлив.

– Я, брат, понимаю... Невеста у меня есть... Хорошая, красивая, умная...

– Дай Бог! А только то в расчет прими, что покуда не поживешь с ней – не хвастайся: оно после откроется – от Бога,

али от чёрта твоя любовь. Чёрт, братец, такого туману напустит, что не сразу разберешься...

Я рассердился на ямщика:

– Дурак не разберется, а если в голове кое-что есть...

– Да ведь и чёрт-то, братец, не дурак, а пожалуй и поумнее нас с тобой... Выбирай – которая стеснительная, которая глаз зря не пялит на тебя и Бога боится... А уж которая говорит: «Бог не исправник, а я – вольная», от такой надо подалее... А тоже – красивая из себя эта гостья у вас! Тоже, поди, какой-нибудь думал, что Бог ему в награду послал... Сказывают – мужняя жена беглая... А я поглядел: чёрт в ней сидит...

– Как же ты это узнал?

– Я-то? Хм!.. Смех у ней нехороший и в глазах один блуд... Из себя черная, как ворон, язык стыда не знает и глаза – тоже... И душа в ней – черная, поверь моему слову!.. Вот этаких-то чёрт и подсовывает нашему брату... В грехе сгоришь с этакой... От нее так и палит огнем... Сижу на козлах, разговариваем, а в спину от ее глазу да от языка грех входит...

Ямщик сплюнул и потихоньку замурлыкал тягучую грустную песенку...

А мои мысли опять полетели назад и кружились около моего белого голубя... Белая!.. Она вся белая, светлая, чистая! Она – от Бога... Я перекрестился и прошептал:

– Благодарю Тебя, Господи!

Потом вынул из бокового кармана записную книжку и трясущимися руками достал спрятанный здесь портрет Зои. Чем дольше я смотрел на портрет, тем он более оживал... Милое, дорогое лицо!.. Кротко и доверчиво смотрят на меня радостные глаза, и легкая тень улыбки приветствует и ласкает восторгнувшуюся душу. Я приближаю портрет к своему лицу, и мне чудится, что глаза раскрываются шире и губы начинают вздрагивать и что-то хотят сказать мне...

– Здравствуй, голубь! Ты меня помнишь, не забыла? Да!.. Конечно!..

Прикладываю портрет к губам и закрываю глаза.

– Вон она! верхом... как мужик!

Проворно прячу портрет...

– Она и есть!..

– Кто?

– Гляди вперед! Вона!.. Ровно казак. Хм!..

Далеко впереди, навстречу нам, чрез ровные стволы высоких сосен, выезжал верхом на гнедой лошади гордый всадник, похожий на пажа из оперы: желтые ботфорты, шляпа с пером, левая рука на талии, на груди ярко-красное пятно...

– Не мужик и не баба... – промычал ямщик.

– Это... разве это – женщина?

Ямщик обернулся и бросил злым шёпотом:

– Она это, ваша гостья!..

– Калерия?

Всадник прищепил лошадь и галопом помчался нам на-

встречу. Не знаю почему – я почувствовал вдруг робость и опустил глаза. Звонко постукивали подковы о переползавшие через дорогу корни старых сосен, и мой страх возрастал по мере приближения всадника. Словно навстречу нам мчался поезд и грозило неминуемое столкновение. Уже близко... Слышно, как храпит взмыленная лошадь...

– Тпру! Здравствуйте, Геня!

Круто повернула лошадь и поехала совсем рядом, протянула руку, крепко затянутую темной лайковой перчаткой.

– Созрел? Поздравляю! Я выехала тебя встречать... Ты недоволен?

– Благодарю!.. Мама здорова?

– Да... Не совсем, как все дамы на возрасте, но... Посмотри на меня! Мне хочется хорошенько рассмотреть своего братца... хоть и троюродного... А, уже усы! Молодцом! Ты выглядишь совсем мужчиной...

Меня разбирала злость: она говорит со мной, как с мальчиком, на «ты», прищуривает глаза, рассматривая меня, как неодушевленный предмет, забрасывает глупыми вопросами и хохочет на весь лес.

– Ты любишь верхом?

– Нет. Я предпочитаю прогулки пешком, с ружьем и собакой.

– Надеюсь, что иногда ты не откажешься, кроме этих своих друзей, захватить еще и третьего, то есть меня? Я люблю скитаться по лесу.

– Я охотник серьезный. Вы за мной не угонитесь.

– Почему же – «вы»? Я тебе разрешаю говорить мне «ты». Я окончательно рассердился.

– Из женщин я говорю на «ты» только с матерью да еще

с...

– С кем еще?

– С той, которую люблю...

Она весело расхохоталась:

– Ну, хорошо: давай на «вы»!.. Вы кого же любите?

– Калерия Владимировна! Вы мне не нравитесь.

– Почему? А мне все говорят, что я очень красива.

– Я – не о наружности... Я не люблю шутить над... Вообще я серьезнее, чем кажусь вам... Вы меня простите, но я просто не умею поддерживать пустых разговоров...

– Вы даже не умеете быть вежливым... Но со временем мы этому научимся...

– Хорошо. Только не теперь...

Калерия больно ударила свою лошадь хлыстом и помчалась вихрем по дороге. Заклубилась впереди пыль, засверкали лошадиные ноги подковами, и скоро пропал в соснах этот странный всадник.

– Видел? Чёрт, а не баба!.. – обернувшись, сказал ямщик и, покачав головой, добавил:

– Ловко ты ее отбрил! До новых веников не забудет! Давай покурим, что ли...

Ямщик пустил лошадак шагом и, свертывая сигарку, всё

радовался и хихикал. А я молчал и всё еще не мог опомниться от нападения. Думал о ней. Действительно, красивая. Нерусский тип. Лицо смуглое, матовое, глаза как у красивой японки, волосы черные, как смола в расколе; на верхней губе – усики. Длинная шея слегка наклонена вперед; капризный, раздражающий голос и смех... Что-то неприятное есть в этом смехе. Просто нахальный смех.

– А тоже учит вежливости! – вслух проворчал я.

Выехали из лесу: сразу масса света и необъятный простор. Зеленые луга перерезаны, словно парчевой серебряной лентой, рекою, а за рекою – пологие горы и на них – верхушка церкви и верхушки ветряных мельниц. А вон и наш липовый парк, в котором прячется наша старая усадьба!..

– Вон уж где она, шельма, скачет! – сказал ямщик, показывая кнутом за реку. – Чёрт, а не баба... Ей-Богу!.. Ну-ка, милые, повеселей!

Он ударил по кореннику, подхлестнул пристяжку – и бодро запели под дугой колокольчики, и плавно и быстро покатился тарантас по гладкой и ровной дороге...

VIII

Я поместился в садовой беседке, плотно окруженной густой разросшейся сиренью. Здесь лучше. В старом доме мрачно, там притаилось разрушение. Всё покосилось, скрипит, шатается, полно старыми тетками, от которых пахнет лампадным маслом и нафталином. Там постоянно кричит благим матом грудной ребенок Калерии Владимировны, которого она отучает от материнского молока чуть не с самого дня рождения; там – и она, Калерия...

А здесь спокойно, тихо и одиноко. Сам себе господин; живи по-своему. Никому не мешаешь и тебе никто. Да и привык я к маленьким комнатам. Беседка наполовину из стекол; есть много побитых. Заклеил газетами почти все стекла, а целая и незаклеенная сторона обращена к забору в переулочек, заросший репьем, лопухами и крапивой. Турецкий диван – моя постель. Две липовых кадочки из-под меда – мои пуфы, огромный старомодный письменный стол и... качалка! Это – мама: «мало, говорит, у тебя мебели»...

– В другой раз сядешь да покачаешься... Любил ее покойный отец... А ей она не нужна... Я думала, ребенка будут качать, а она... Она против качания... По-новому... Голодом морит...

– Ты отняла ее у Калерии? Ей-Богу, мне она не нужна, эта качалка!..

– Ну, всё равно... Пусть лучше у тебя... Не хочу...

В общем недурно. Ружье и охотничьи принадлежности на стене, коврик и на нем собака, белая Джальма, а в окно глядят кусты сирени. Но главное – стол. Тут – уголок души: портрет Зои и любимые книги. Портрет всегда в цветах, в массивной рамке из белого клена. Ах, еще – гитара! Здесь в беседке, в тихую теплую ночь, когда всё уснет, струны гитары звучат как-то особенно мягко и нежно, и я люблю иногда в лунную ночь прислушиваться к минорным аккордам струн и потихоньку, чтобы никто не слышал, пожаловаться тихой ночи на свою тоску по Зое и на свое одиночество: тихо и жалобно подпеваю плачущей гитаре... импровизирую, обращаясь с упреками к Зое и к Богу... Все нет еще письма!.. Забыла... Ставлю перед собой портрет Зои, беру гитару, настраиваю ее на минор и, слабо трогая струны, грустным тенорком тяну:

«Ты не могла понять меня, понять моей любви...»

И мне так жалко делается себя, что слезы начинают медленно катиться по щекам.

«Зачем, зачем ты не сказала, что...»

Обрываю романс, облакачиваюсь обеими руками на стол и пристально, с укором, смотрю на портрет Зои...

– Смеешься?.. Эх, ты!

Однажды, вот именно в такой момент и в таком настроении, в тихую звездную полночь, я бренчал на гитаре и жалобно подпевал: «ты не могла понять меня, понять моей любви»; вдруг прозвучал иронический возглас под раскрытым окном:

– Недурно!

Словно оборвались струны гитары... Я смолк и прикрыл огонь лампы. К сожалению, ночь была лунная, и я еще явственнее увидел то, от чего хотел спрятаться: в раме окна, в освещенной лунным светом листве, стояла смуглая Калерия и насмешливо улыбалась.

– Подслушиваете? Очень благородное занятие!

– Подслушивают, когда люди – вдвоем. А вы – один...
впрочем с гитарой!..

– Ну, подглядываете. Это всё равно.

– И опять неудачно: подглядывают молча, а я не молчу и не прячусь. Мне просто скучно, не спится... Я гуляла по саду и испугалась ежа или ящерицы... Увидала у вас огонь и вот... стою. Если помешала – скажите; уйду...

– Собственно... нет. Я ничего не делал, чтобы жаловаться на...

– Вы играли на гитаре. Поэтому я и не побоялась помешать вам.

Калерия облокотилась на подоконник, вдвинулась всем корпусом в мою комнату, обвела ее взглядом.

– По-студенчески... Моя качалка! А я думаю, куда она

делась?..

– Это – мама... Мне она не нужна. Возьмите и качайтесь!

– Мерси! Качайтесь сами. Я успела уже в жизни покачаться... А вот чему можно позавидовать, так это вашему дивану. Так и тянет посидеть... с ногами... Можно?

– Пожалуйста! – сказал я и торопливо поднял фитиль лампы.

Зашаталась и заглянула сирень в окно, а Калерия исчезла. «Вот чёрт принес!» – подумал я со злостью и только было намеревался спрятать портрет Зои, как распахнулась дверь и появилась Калерия. Приподняв над головой ярко-пунцовый шелковый шарф она манерно раскланялась и подошла к столу:

– Она?

– Что – «она»?

– Которой вы говорите «ты»?.. В цветах – это хорошо, а рамку надо поэзнее.

Она склонилась над столом и стала разглядывать портрет; ее плечо касалось моего и, косясь вбок, я видел ее щеку и губы с черненькими усиками.

– Миленькая... Хотя... ничего загадочного... «Ты будешь – верная супруга и добродетельная мать»... А впрочем, не по хорошему – мил, а по милу – хорош... Я лучше посижу на этом великолепном диване, а вы побрянчите на гитаре и спойте жестокий романс...

– Ничего я не спою. Не так настроен.

– Будет дуться!

– Почему вы так презрительно говорите о добродетельных матерях?

– Потому что сама я очень скверная... Не знаю, почему, но я, Геня, не чувствую никакой любви к своему ребенку... Так, кусочек мяса... Хотела бы, но нет... Иногда обманиваю себя, мусолю ему щеки, лялькаю, говорю «милый», а в душе чувствую, что не трогает... Так же я любила своего мужа... Полялькаю и поймаю себя на лжи перед собою... Вы созрели? Вас не смущает такой разговор? – спросила она вдруг, подбирая под себя ноги.

– Нет. Я достаточно вырос и... вообще...

– Здесь страшно говорить с людьми искренно. Всякая правда встречается с удивленными глазами, словно о ней никогда в жизни ничего никто не знал и не слышал. А иногда так хочется кому-нибудь сказать именно то самое что думаешь... Пусть это будет глупо, неприлично, не принято... Когда вы при первой же встрече сказали: «вы мне не нравитесь», – сперва мне было немножко обидно, а потом, когда я ускакала от вас и стала обдумывать, – мне страшно понравилось... Вы – храбрый!..

– Такая храбрость не требует особенной храбрости...

– Однако! Не всякий скажет в глаза красивой женщине, что... Ведь я всё-таки красива? Посмотрите!

Она сбросила с головы пунцовый шарф за шею и, опираясь на него, неподвижно остановила на мне глаза. Я взглянул

и потупился...

– Да, вы...

– Красивая? Ну, конечно! Я красивее той, которая там... у вас на столе...

– Нет! – твердо и убежденно кинул я к дивану.

– Не разглядели еще... Ну, для первого визита довольно!..

Она встала с дивана, потянулась и накинула шарф на голову.

– Не хочется спать... Боюсь одна, а ужасно люблю бродить по саду ночью... Всё странно в саду ночью: и деревья, и дорожки, и шорохи, и тени... И сама жизнь начинает казаться какой-то загадкой. Хотите, погуляем?..

Я не хотел, я уже снова злился и возмущался, как это она не видит...

– Я?.. Пора бы собственно спать...

– Ну, немножечко!.. Тура два по старой аллее... Там так страшно!

Она подхватила меня под руку и повлекла к двери.

– Позвольте! Шляпу надо...

– Совершенно излишне. У вас целый стог волос... какая там шляпа!

Пошли.

– Ах, как страшно! – шептала Калерия и крепко прижималась к моей руке. – Идем туда, под горку, в старые липы, где баня... Бррр! В бане – черти... оборотни... Ай!

Она вдруг вскрикнула, шарахнулась в сторону и потянула

за собой меня.

– Что вы! Это – лягушка.

– Тише: кто-то идет вон там, между деревьями...

– Куст это, куст!

– Держите меня крепче: тогда не так страшно... Говорите что-нибудь!

– Не о чем.

– Тсс! Что это... пищит? Слышите?

– Кошка.

Мы приостановились и прислушались.

– Ах, это – мой Вовка! Проснулся... Есть просит... Проводите... Скорей!..

Мы повернулись к дому и быстро зашагали по аллее.

– Спокойной ночи! Думайте обо мне! – небрежно кинула Калерия и, выдернув свою руку, быстро вбежала по ступенькам крыльца и пропала.

«Сумасшедшая или просто... дрянь» – думал я, возвращаясь к себе в беседку. А когда разделся и лег, то вспомнил, что забыл проститься с Зоей.

– Милая! Святая моя! Спокойной ночи!.. Вскочил с дивана, поцеловал портрет и вернулся. Шелестела за окном листва сирени, и мне всё чудилось что там, за окном, кто-то стоит и смотрит...

IX

Письмо! Письмо!..

От нее! От нее!..

Я бросил обед, убежал в сад и, спрятавшись в кустах, разорвал конверт. «Милый, родной мой! Забыл ты меня. Грех тебе так мучить... А, может быть, ты нездоров? – тогда прости мой глупый упрек, но я исстрадалась. Мама, глядя на мою печаль, сердится и всё спрашивает, что случилось. А я ношу втайне печаль. Вчера ночью поплакала. Вот какой ты нехороший! А говорил что»...

Что же это значит? Я написал ей уже два огромных письма.

– Геня, иди! Мы тебя ждем.

– Не ждите!

«Расстраивается наше счастье: мама и слышать не хочет о том, что я осенью снова уеду в Казань на курсы... Может быть, нескоро уже увидимся, а то и никогда»...

– Геннадий!

– Кушайте, Калерия, без меня!

«Напиши, утешь!.. Господи, что-то с нами будет? Папа словно догадывается, что я жду твоего письма: велел всю почту класть к себе на стол...».

Воруют письма папочка с мамочкой. Теперь понятно.

«Не придумаю, что делать... Тоска, тоска, тоска!.. Сильно

люблю, целую, часто вижу во сне и благословляю тебя. Твоя Зоя».

– Мама велела приводом!

Я, как вор, спрятал письмо в руке и вышел из кустов злой, что мне мешают, а Калерия подхватила меня под руку и повлекла на террасу.

– Что же это вы, как собака с костью, убежали с письмом в кустики...

– Пустите меня!..

– Не пущу! Мама велела привести и посадить мальчика на место.

– Оставьте! Не хочу.

Я злобно вырвал руку и пошел быстро вперед.

– Геннадий, вы мне сделали больно... Противный мальчишка!.. Получил письмо от своей курносенькой и думает, что...

– Не ваше дело!

За столом два пустых стула рядом. Ничего не поделаешь: сажусь рядом с Калерией. Смотрю только в тарелку. Избегаю прикосновений, но это не всегда удается. Пролил на скатерть соус. Калерия раскатилась звонким хохотом:

– Мы словно супруги в счастливом браке!

– Избави, Господи! – ворчу, косясь на соседку.

– Ему еще рано об этом думать, – одобряет мама, видимо рассердившаяся на неуместное сравнение. Это задевает мое самолюбие и тайное сознание себя женихом Зои.

– Думать, мама, никому и ни о чем не возбраняется.

Калерия посмотрела на меня прищуренным взглядом и улыbnулась – одобрила. Уронила нож.

– Поднимите, пожалуйста!

Наклоняюсь, она гладит меня по голове теплой рукою:

– Пай-мальчик! Мерси!

Это и злит и рождает приятность. Всё-таки она очень красивая... Смотрю боком на Калерию... Какие губы... румянит она их, что ли? Оригинальный цвет кожи и... усики на приподнятой губе... Как это странно... Бывают персики розовожелтые, с пушком... Какие волосы красивые: черные, как смола, или бледно-желтые, отливающие золотом?. Нет, золотистые – лучше!.. Заметила... Состроила гримасу и высунула кончик языка... Воображает, что zalюбовался... Отвернулся, смотрю в окно через головы сидящих напротив:

– Что вы там увидели?

– Ничего особенного.

– От кого, Геня, письмо?

– От товарища, мама.

Опять хохочет.

– Завидую вашей веселости.

– А я вашему товарищу!

– А что такое, почему завидует Калерия?

– Об этом вы, мама, спросите у нее.

– Я?.. потому что у меня нет подруги и не с кем переписываться...

Вывертливая, как налим. Никак не ухватишь. Смотрит и ядовито ухмыляется, вздрагивая верхней губой... У, животное! Красивое животное.

– Вовка плачет!..

Вылезает из-за стола и толкает ногу, – я уверен, что нарочно: производит опыты... Ушла. Мама качает головой:

– Вовка у нее скоро умрет, а ей всё смешно.

После обеда я ушел в свою келью, запер дверь и принялся снова за письмо; перечитывал, повторял: «милый, родной мой!», всматривался в строки, в буквы, в бумагу, словно хотел прочесть еще что-то ненаписанное, тайное, что скрывалось от глаз... «Вчера ночью поплакала»... Вчера! Сколько времени шло письмо?... Когда послано?... Раскидываю умом. Плакала в ту самую ночь, когда здесь, на диване, сидела эта... с усами! Верю в предчувствие. В ту ночь был такой момент, когда я подумал, кто красивее: Зоя или эта... с усами?... Какой я негодяй! Ты – святая, ты чистая, как цветок после дождя, а эта... с усами – она только красивое животное, пожалуй, умное, хитрое, но всё-таки животное. Как я, негодяй, смел вас сравнивать? Прости меня, прости! Несколько раз я вздрагивал от взглядов этого животного и в душе моей становилось грязно... Ты прости мне это! Я не виноват. Ты добрая, как светлый ангел-хранитель, а я... я уже испорчен грязными мыслями. При тебе нет их, не будет, клянусь всей жизнью! – Я лег на диван и, уткнувшись лицом в подушку, заплакал тихими покаянными слезами... Потом почувство-

вал облегчение. Она простила... Стал писать письмо...

«Голубь, серебряный голубь с золотыми крыльями! Я ни на минуту не забывал тебя: ты со мной и днем, и ночью. Я пишу тебе уже третье письмо. Негодяи воруют мои письма. Кто они – не знаю, но если и на этот раз письмо попадет им в руки, то пусть они знают, что мы связаны жизнями так крепко, что никто не может украсть нашу любовь. Скверно, что твои папа и мама мешают тебе учиться, а нам любить и видеть друг друга. Но ведь с этим мы не можем мириться? Да? Мы не дети: тебе – семнадцать, а мне осенью будет двадцать один. У нас – своя жизнь... Осенью плюнь на всё и приезжай в Казань. Чтобы оградить тебя от всяких насилий – повенчаемся и конец...».

Я соскочил со стула и, поглаживая себя по закинутым назад волосам, стал ходить крупными шагами по комнате... Я был серьезен; мне казалось, что я уже женат, имею заботы и обязательства охранять любимое существо от обид, и это рождало во мне гордость и самоуважение.

– Моя жена – прекрасный человек!..

Я перебирал в памяти и обдумывал разные вопросы, связанные с превращением холостого в женатого и ходил, ходил по комнате... Много забот и хлопот налегло вдруг мне на плечи. Придется всё-таки прямо сказать матери: женюсь и кончено!

– Мамочка, было бы тебе известно, что осенью – свадьба...

– Чья?

– Моя-с!

– Ты с ума сошел?!

– Пока еще нет. И т. д.

Подсел к столу, продолжаю письмо:

«О подвенечных платьях, вуалях и всякой ерунде – не забойтесь. Мы с тобой пойдем в какую-нибудь церковь вечером и скажем попу: так и так, окрутите, батюшка, без особенных церемоний; а упрется, так споем ему: „Нас не в церкви венчали“».

– Правильно!

Соскочил со стула, довольный своей решимостью, и запел:

Нас венчали не в церкви,
Не в венцах, не с свечами,
Нам не пели ни песен, ни обрядов венчальных.

И вдруг в саду – продолжение: Калерия поет:

Венчала нас полночь средь темного бора,
Свидетели были земля с небесами...

А хороший у нее голос! Она пела, а я слушал. Замолчала. Она воображает, что я буду продолжать. Ужасно хитрая баба. Лезет... Не знает, что придумать... Латинским хочу заниматься!.. На кой тебе чёрт – латинский?.. «Созреть желаю»... Учи, долби себе! Показать, объяснить, что понадобится, я

не откажусь, но чтобы сидеть с тобой каждый день и смотреть в латинскую грамматику – слуга покорный!.. Не на такого напала. «Созревай» одна, а с меня достаточно: девять лет долбил... Опять запела... Бархатный голос... Вот шла бы на сцену... в оперетку... А то – латинский!..

Вечером велел запречь лошадь в бегунки: собираюсь отвезти письмо на почту, – до нее восемь верст. Подали лошадь, усаживаюсь, взял в руки возжи. Калерия выходит на крыльцо и идет к бегункам:

– Я тоже еду.

– Во-первых, вдвоем на бегунках неудобно; во-вторых, зачем ехать двоим, когда можно поручить все дела одному?..

– Прекрасно. Оставайтесь, а я исполню ваше поручение. Давайте письмо!

Махнула рукой, чтобы я слезал, а сама приготовилась усесться.

– Ну, слезайте!

– Я должен сам...

– Не доверяете? В таком случае и я вам не доверяю...

Устраивается позади меня.

– Я села, можете ехать!..

Я злобно стегнул лошадь, она разом рванулась с места, и Калерия скатилась на траву.

– Дурак! – презрительно бросила она, поднимаясь на ноги, и пошла к крыльцу. А я еще сильнее ударил лошадь и уехал...

Х

Умер Вовочка!..

В большом зале, в переднем углу, под образами, лежал на ломберном столике замолчавший, наконец, Вовочка, и в старом доме как-то сразу стало тихо-тихо... Весь в белом, в кружевном капорчике с голубыми бантиками, он походил на сломанную игрушку, большую куклу, закрывшую глазки. Как маленький старичок, он сморщил и нахмурил свое личико и втянул посиневшие губки в беззубый рот. Никто не плачет, только говорят шёпотом и ходят на цыпочках. Кротко мерцает лампадка и ласково смотрит на Вовочку Спаситель, благословляющий маленького гостя земли в далекий неведомый путь. Пришел, поплакал и ушел. Зачем?

Раскрыты окна. Солнышко золотит крашеный пол зала. Поют в саду птицы. Золотисто-розовый вечер не зовет к радостям жизни: всё тянет в угрюмый большой зал к Вовочке, всё тянет смотреть в это желтое восковое личико и понять что-то тайное в его выражении. Кто-то идет сюда мягкими шагами... Отхожу в задний угол, за рояль, и стою здесь, понуря голову. Тонкая, стройная Калерия, в черном платье, с опущенными руками, медленно подходит к Вовочке, не замечая моего присутствия... Остановилась, наклонилась над ребенком, поправила кружевца и выпрямилась, застыла с опущенной головой...

– Прости меня, Вовочка! – прошептала она, и белый платок мелькнул в ее руке и закрыл лицо... Плачет тихо, беззвучно, только вздрагиванием плеч...

– Я скверная...

Жалко, бесконечно жалко эту тихую страдающую красивую женщину в черном, раньше гордую своей красотой, а теперь кроткую, шёпотом умоляющую маленького мертвого человека о прощении, втихомолку страдающую и плачущую беззвучными слезами... Как-то стыдно быть теперь в зале и смотреть... Калерия опустилась на колени, а я тихо, незаметно вышел на цыпочках из зала... Пусть побудет наедине с Вовочкой и поделится с ним своими тайнами... Какая она несчастная! Никто ее, видимо, не любит и ей тоже некого любить... Кто знает, что прячется в душе этой отталкивающей и притягивающей, женщины?.. Быть может, она совсем не такая дурная, как о ней думают...

Ничто не изменилось в привычках нашей жизни со смертью Вовочки; всё шло обычным порядком. Только Калерия не появлялась за столом во время чая, завтрака и обеда. И я как-то чувствовал ее отсутствие и замечал прежде всего пустой стул рядом. Как-то смутно беспокоил меня этот пустой стул и невольно заставлял думать о Калерии.

– Позовите Калерию Владимировну! – сказала однажды мама горничной, и я вздрогнул.

– Они у Вовочки, – прошептала горничная и не пошла.

– Есть всё-таки необходимо – сказал я мимоходом.

– Они не приказывают их беспокоить, когда у Вовочки.

Мама вздохнула и сказала:

– Что имеем не храним, а потерявши, плачем. Когда жив был, так – не надо, а теперь...

– Как это жестоко, мама, говорить так!..

Все тетки поддержали маму: начали торопливо шёпотом перечислять недостатки и грехи Калерии. «Эх, вы, галки!» – подумал я, и мне захотелось наговорить им дерзких, обидных слов и заступиться за Калерию.

– Достойным и добродетельным теперь следует помолчать и предоставить суд над матерью Богу и мертвому сыну!..

– Защитник какой!.. Присяжный поверенный.

– Должно быть, по любовным делам... – в два голоса затараторили тетки. И это было так противно, что я встал из-за стола и, резко двинув стулом, ушел из столовой.

На второй день вечером ко мне в беседку вошла Калерия. Лицо у нее было строгое, глаза как-то тускло мерцали под полуопущенными ресницами и во всей фигуре, тонкой и гибкой, как и в походке, была утомленная покорность и тихая печаль пред свершившимся...

– Геня! – сказала она просто и ласково, – могу я попросить вас...

– Конечно, Калерия!..

– Мне хочется похоронить ребенка в ограде. Надо переговорить об этом с батюшкой. Мне тяжело самой... Может быть, вас не затруднит...

– Конечно!.. Сейчас поеду и...

Калерия опустилась на диван и, закрывшись платком, вдруг заплакала.

– Прости... Мне так тяжело... И некому сказать об этом!..

Я смотрел на нее и думал: так недавно еще ты сидела на этом самом диване, весело смеялась, играя красным шарфом и сверкая в темноте черными бесстыдными глазами, а теперь сидишь и беспомощно, как маленькая наказанная шалунья-девочка, плачешь... Я тихо приблизился к ней и, положив руку на ее склоненную спину, сказал:

– Бедная!..

– Поезжай! – прошептала она, отняв от глаз платок, и неподвижно устремила взор в пространство.

– Теперь – одна! – прошептала она и, встав с места, постояла на пороге.

– Что-то еще я хотела сказать тебе... Забыла... Поезжай! И вышла, потирая лоб тонкими пальцами.

Я сам запряг лошадь и поехал. И всю дорогу думал о Калерии, о Вовочке, о смерти и о жизни... Летние сумерки на полях, поросших ржаными всходами, безлюдных, безкрайних, во все стороны бегущих до синих и розовых туманов вечернего неба, пробуждали в душе нежную печаль и желание быть добрым и кротким... Под этим настроением я приехал и говорил с батюшкой, и в первый раз в жизни, не любя попов принципиально, почувствовал в нем доброго, милого старичка, понимающего человеческое горе и желающе-

го утишать человеческие скорби...

Возвратился я ночью. Было страшно в темном море полей, пугали темные колыхающиеся пятна редких встречных телег, пугали шумы то и дело срывавшихся из придорожных трав перепелов, пугали верстовые столбы... Всё стоял перед глазами маленький гробик и желтое восковое личико Вовочки, окруженное тремя горящими восковыми свечками... И радостно стало и покойно на душе, когда впереди вздрогнули огни родной усадьбы и потянулись плетни огородов... А когда вдали залаяла Джальма, я почувствовал к себе презрение. «Какой ты, однако, трус!» – думал я про себя, распрягая лошадь. – «Стыдно, братец!...» – Иду мимо окон зала: всё та же сжимающая горло скорбь... Белый гробик, полевые цветы, огоньки восковых свеч и окаменевшая черная фигура с молчаливой скорбью на прекрасном лице...

Похоронили Вовочку около самой церкви, между тремя старыми наклонившимися березами. Мы все ушли, а Калерия осталась и долго не возвращалась в усадьбу. Ей забыли оставить лошадь; она вернулась пешком и заперлась в своей комнате. Было тоскливо за вечерним чаем с тетками и не хотелось говорить. Я бродил по молчаливому залу, где всё стояло уже на своем месте, прислушивался к тихому покашливанию прячущейся Калерии. Несколько раз я прошел мимо ее окна и смотрел на опущенную занавеску. Вечером в этот день привезли мне письмо с почты:

«Милый, родной мой! Я безумно счастлива: наконец-то,

я получила от тебя весточку. Словно чувствовало мое сердце, что есть письмо: сама поехала в волостное правление и, действительно, получила. Прости за упреки!.. Господи, как прыгает у меня сердце! Это от того, что ты любишь... Да, я должна ехать в Казань, я не могу жить с тобой в разлуке... И если папа с мамой будет против... я убегу из дому. Будь, что будет!.. Скоро напишу тебе длинное-предлинное письмо, а теперь нельзя: сижу в правлении и тороплюсь: сейчас мое письмо поедет к тебе. Не тоскуй же, чаще вспоминай меня и пиши! Видишь ли ты меня во сне? Целую, целую и благоговяю моего... Догадайся сам!.. Твоя навсегда З.»

Не перечитывал я на этот раз письма и не почувствовал умиления. Почему-то радость письма мне показалась теперь неподходящей. Словно на похоронах кто-то запел веселую песню... Встали в воображении два образа: светлый, радостный, со счастливою улыбкой на лице, весь в золоте бледно-желтых волос, и другой – печальный, с молчаливой скорбью в черных очах, с склоненной головою и опущенными руками, весь в черном сиянии волнистых, непослушных волос...

Любовь и жалость... Где любовь и где жалость? Почему я смотрю на портрет белой девушки, а думаю о черной женщине?.. Неужели... Нет, нет!.. Не может этого быть, не может быть!.. Я люблю тебя, Зоя, люблю, люблю!..

Схватываю портрет и смотрю на него долго и пристально...

Почему ты так грустно улыбаешься, милая белая девушка?.. Ведь ничего еще не случилось. Я люблю тебя! Только тебя... Клянусь тебе в этом... Верь мне!

XI

Умер Вовочка – и что-то оборвалось в нашей общей жизни. На этом маленьком человеке, как на тоненькой ниточке, держалось в старом доме всё внешнее благополучие во взаимоотношениях его обитателей. Оборвалась ниточка и всё сразу рассыпалось. Старый дом лицом к лицу очутился с новой, чуждой и враждебной ему женщиной... Вовочка унес с собою всё, что еще примиряло старый дом с Калерией. Раньше была мать. Скверная, но мать. Теперь она – только женщина, оскорбляющая установленные здесь привычки и традиции. Все тетки зашипели, как змеи, и начали жалить.

– Малабарская вдова!..

– Замужняя невеста...

– Г-жа «Милости просим!»

– Почему она не разведется с законным мужем? Опять бы девицей стала...

– Не желает на себя вину принимать... Сама сблудила, а желает эту пакость на спину мужа взвалить...

– Вовочка-то у ней не от мужа...

– Приблудный!

Такие разговоры велись вполголоса в моем присутствии за семейным столом, когда не было Калерии. Шептались, посмеивались и моментально смолкали, когда появлялась Калерия.

– Тише!! Идет г-жа «Милости просим».

«Ехидны!» – думал я о тетках и, на зло им, проявлял к Калерии подчеркнутую внимательность. Мама заражалась тем же настроением. Она хмурилась на Калерию и подозрительно посматривала в мою сторону. Что-то подозревала она и говорила, как Пифия:

– Тебе надо, Геня, сбрить усы.

– Почему?

– Рано еще... Усы в свое время...

– И на своем месте! – добавила тетка помоложе, а тетка постарше зло ухмылялась и, поднимая глаза к небу, шептала:

– Бог шельму метит.

– Не понимаю, тетушка!

– Подумай – поймешь!.. У нас усы не вырастут. Господь не допустит.

Я вскакивал из-за стола.

– А уши уже выросли!..

– Как же это понять?

– А про какую шельму вы, тетушка, говорите? Как это понять?

– Не понял?

– Отлично понял... и прошу, при мне, по крайней мере, не издеваться над Калерией. Одни – сколько душе угодно, а при мне прошу...

– Скажите, какой присяжный поверенный! Смотри, брат, что-то ты очень...

– Не ваше дело!

– Не забывай, что не мы, а она у нас живет...

...Зачем она остается в этом доме, где к ней так враждебны? Почему она не порвет с этими ненавидящими ее людьми?... Неужели она не замечает и не чувствует всей униженности такого положения в доме? Странно: как будто бы, неглупая женщина, а вот поди!

А унижения становились всё более резкими и частыми. Я страдал за Калерию... Вернее, не за Калерию, а за человека вообще... Странно и обидно. Что, однако, удерживает ее в этом догнивающем доме? У нее, по словам мамы, есть хорошие средства, есть полная воля и никаких забот и обязанностей. Как птица: вспорхнула и полетела, куда захотела, за леса, за море, за синие горы туманных далей... Эх, Калерия!..

– Тебе письмо.

От кого? Незнакомая рука... А-а, от отца Зои! В чем дело?

«Сим уведомляю вас, милостивый государь, что документ, в котором»...

– Что за чепуха! Какой документ?

...«в котором вы делаете гнусное предложение моей дочери – бежать из родительского дома и вступить в незаконное сожитие с вами, милостивый государь»...

– Фу, какая гадость!..

...«представлен мною Г. Начальнику губернии, а засвидетельствованная нотариальным порядком копия с него – Его Преосвященству Архиепископу Симбирскому. При сем

имею честь присовокупить, что если вы»...

Я сидел за письменным столом и хохотал. Однако, решительный человек. Что ему ответить? Должно быть, у него скопилось много документов, в которых я, в теплые звездные ночи, когда тоска по любимой девушке разгоралась особенно ярко, изливал перед ней в стихах и прозе восторги своих чувств. «Документы»! Красиво сказано. Взял в руки Зоин портрет. Тускло и печально смотрел он на меня из рамы, обвитой увядшими васильками. Скоро вянут васильки! Вынул из ящика Зоины письма. Вот они, розовые и голубые «документы»! Все начинаются одинаково:

«Милый, родной мой»... И кончаются благословениями. Даже г. начальник губернии и преосвященный не могли бы найти в них ничего предосудительного.

– Барин! Письмецо вам...

– От кого?.. Вот повезло на письма...

– А уж сами увидите...

Я подошел к окну и взял из руки горничной небрежно свернутый клочок бумаги. Торопливый некрасивый почерк:

«Через три дня я уезжаю. Сегодня – девятый день Вовочке. Не пойдешь ли ты со мной на могилку отслужить по нем панихиду? Одной скучно. Я уже пошла. Если хочешь, догонишь, я пойду тихо и посижу за околицей у мельницы. Калерия».

Я бросил Зоины письма в ящик, захватил шляпу и почти выбежал из беседки. Почему я так обрадовался и почему не

иду обычным путем: мимо старого дома, в ворота, а лезу через забор сада? Там увидят галки тетки и поднимут в своем гнезде обычный галочий содом...

Вон она, черная и стройная, стоит как маленькая изящная фигурка из черного мрамора, на горе, под крыльями мельницы... Я покрутил в воздухе шляпой... Заметила, махнула красным шарфом и тихо пошла вперед... Почему вздрогнуло сердце, а на ногах словно выросли крылья. Вот уже два дня я не видал, Калерия, твоих странных печальных глаз, в которых грех борется со святостью... Почему иногда ночью, когда птица качнет под раскрытым окном моей беседки ветку сирени, я весь встряхиваюсь и долго смотрю в зеленые сумерки освещенной светом лампы листвы за окном? Не тебя ли жду я, Калерия, в своей одинокой беседке, обманутый птицей?.. Я думаю о далекой и вдруг, с тайной надеждою, начинаю ждать близкую...

– Калерия! подожди же меня!..

Я задыхаюсь, торопясь на гору...

Обернулась, махнула красным шарфом и уходит... Скрылась за горою. Догнал...

– Как ты бежишь!

– Почему ты так тяжело дышишь?

– Я бежал в гору...

– Сядь на траву и отдохни. Вот здесь, на травке! А я буду собирать васильки для Вовочки...

Она пошла по меже, меж двух зеленых стен ржаного поля,

и рвала цветы, то скрывалась, то вновь появлялась, черная, с красной чалмой из толкового шарфа на голове. Я лежал на траве, курил и ловил взором моменты, когда ярко вспыхивала красная голова Калерии над волнующимся зеленым морем.

– Идем, я отдохнул!

Она вышла на дорогу, с васильками и пунцовыми гвоздиками; поровнявшись со мной, пошла рядом и на ходу плела венок. Ничего не говорила и не смотрела на меня.

– Дай, я понесу цветы, они тебе мешают.

– На!

Она протянула цветы и мельком взглянула мне в глаза тепло и ласково... слегка улыбнулась... Давно она не улыбалась; я успел забыть, как она улыбается. И теперь только я увидел, какая это удивительная сложная улыбка, озаряющая всё лицо красивой печалью и властной гордостью прячущейся души. Я обрадовался и испугался этой мимолетной улыбки.

– Хочешь, пойдем под руку? – сказал я.

– Нет, я буду плести венок. Сегодня я в последний раз побываю в гостях у Вовочки. Может-быть, никогда уже не приду...

– Почему?

– Послезавтра я уеду и никогда не вернусь к этим жестким людям. От них перестаешь любить жизнь...

Мы тихо, очень тихо шли и говорили о людях старого до-

ма, и тут я понял, почему она не сразу порвала с ними.

— Отец умер рано — мне было два-три года. Мать, как и я, не любила маленьких детей. Не помню, чтобы она когда-нибудь ласкала меня. С девяти лет меня отдали в институт, в другой город, и когда я вернулась уже взрослой девушкой домой — я нашла вместо матери совершенно чужую женщину... Когда мне было лет семь-восемь, у нас гостила твоя мама. Она по целым дням возилась со мною: играла, гуляла, ласкала и рассказывала сказки про Бабу-Ягу, про зверей и про Аленушку... Так с той поры и хранилось в моей душе воспоминание о доброй тете, которая меня крепко целовала в детстве. И теперь, когда я страстно захотела погреть душу теплотой и лаской близкого человека, я вспомнила про добрую тетю и, сломя голову, помчалась сюда...

Калерия смолкла и вздохнула.

— Да, ты ошиблась, — прошептал я, — тебе надо уехать...

— Тебе не будет жаль меня?

И опять поднялись на меня печальные глаза, и опять та же улыбка промелькнула на лице и заставила вздрогнуть мою душу...

— Будет жаль.

— Правда?

— Да, правда.

— Скажи мне правду: я перестала тебе не нравиться?

— Да. Ты...

— Ну! Почему ты замолчал?

– Не знаю, ничего не знаю... Может быть, я люблю тебя...

– Нет, нет... Этого не надо, не надо... Не будем говорить об этом...

Я долго шел с опущенной головой и боялся смотреть на Калерию.

– Не грусти! О чем? После завтра я уеду, и ты быстро забудешь про нашу случайную встречу и про этот... разговор в поле... И будешь любить ту милую девушку, которая стоит у тебя на письменном столе... А я... я – случайный эпизод на твоём пути... Обо мне забудь. Да? Так?

– Нет, Калерия...

– Я, голубчик, скверная... Ты не должен меня любить...

– Нет, ты – хорошая... Я не сразу понял это... А теперь... Ах, зачем ты приезжала сюда! Лучше бы нам не встречаться...

– Не будем пока говорить об этом. Я тебя очень прошу об этом.

И мы шли по тропинке около ржи, друг за другом, почти молча... Я – позади, с опущенной головой. Иногда я так близко настигал ее, что у меня перед глазами появлялся подол юбки и мелькали тонкие каблочки ее лакированных туфель. Тогда я задерживал шаг и поднимал с земли глаза; ярко ослеплял их красный шелковый шарф с спущенными за спину концами, и ветерок наносил на меня какой-то особенный аромат, тонкий и опьяняющий, который, казалось, шел, как и я, по следам этой странной женщины...

Когда батюшка облекся в старенькую ризу, и дьячок, раздув угли в кадиле, подал его священнику, а сам начал зажигать свечи, я незаметно вышел за ограду и, оставшись здесь, стал смотреть через решетку на Калерию... Кротким тенорком зывал и пел батюшка; иногда к нему подмешивался угрюмый голос дьячка; синеватый дымок крутился из кадила и, плавая в воздухе, таял в синеве утра. Калерия стояла недвижно, как черное изваяние, над свежей могилкой и без слез, с упреком, смотрела на маленький холмик земли, скрывший Вовочку... Только один раз она посмотрела вокруг и снова застыла... Когда всё кончилось и батюшка с дьячком ушли, Калерия села около холмика и стала наряжать его цветами; что-то шептала она губами, скорбно улыбалась земле; потом поцеловала ее и быстро пошла к воротам.

– Я думала, ты ушел от меня...

Оглянувшись, вытерла слезки, несколько раз кивнула могилке головой и сказала:

– Теперь пойдем... Дай руку, – я устала...

XII

Последний день! Последний день!..

Завтра тебя не будет.

Ах, если бы я раньше встретил тебя на пути своей жизни!.. Зачем ты поздно пришла и рано уходишь? Зачем я грубо оттолкнул тебя, когда ты шла навстречу, когда черные глаза твои, и черные волосы твои, и тонкие кисти рук твоих протягивались ко мне и просили отклика? Ах, я был слепой!.. Сердце смутно угадывало, что ты, только ты, а не другая, будешь владеть моей душой. Если бы знать! Когда ты, вот в такую же темную звездную ночь, вдруг, как сказочная греза, появилась за окном в лиственной чаще сирени, сколько ласки и призыва трепетало в твоих черных глазах! И когда ты сидела вот на этом диване и спрашивала, красива ли ты, – разве ты не звала любить тебя?.. Слепой, слепой...

Последний день!.. Нет, и день этот прошел уже... Тихо плывет ночь... Завтра ее не будет... У меня останется только портрет, который она обещала дать мне на память о нашей случайной встрече и коротеньком знакомстве...

Не могу спать в эту последнюю ночь. Тихая, синяя, она полна звездных мерцаний, таинственных шёпотов и осторожных вздохов земли, цветов и деревьев... Ах, беспокойные птицы за окном в сирени! – вы всё пугаете мое сердце, обливая его горячей радостью надежды. Обманываете вы ме-

ня, птицы: не придет!.. Нет сил оставаться в одинокой беседке и прислушиваться к затаенным трепетам темной звездной ночи. Пойду в сад, буду до рассвета бродить в синем сумраке глубоких аллей...

Еще не спят в старом доме: как глаза огромного темного чудовища в лесу, горят в саду два окна желтым светом. Это ее окна. Там – Калерия... Если бы подойти и тихо постучать в окно, позвать ее в сад и сказать:

– Калерия, я люблю тебя и не могу жить без тебя... Что мне делать?

И ноги тянут меня к окну. Я только пройду по дорожке мимо окна... Там говорят... Ее голос. Почему он дрожит и так обрывается? Теперь говорит мама... А теперь – мама и тетка... Как мне стыдно и больно, что так неласково говорят с Калерией мои родные! Она уезжает, оставьте ее в покое!..

– Ради Бога, оставьте меня! – дрожит прекрасный голос...

Я быстро отхожу прочь. Лучше ничего не знать и не слышать... Пойдем, Джальма, в сад! Здесь так тихо и так хорошо думать о Калерии, о ее черных глазах, ее печальной улыбке, ее красивой голове, которой тяжело от огромного узла непослушных, сверкающих черным сиянием волос... Пойдем, Джальма, дальше, под старые липы, чтобы не было видно огней в старом доме... Что мы будем с тобой делать, Джальма, завтра, когда уедет Калерия? Эх, Джальма! Сколько раз она просилась с нами на охоту, и мы ей отказывали... Должно быть, раскрыли окна: даже сюда долетел пропитан-

ный злобою, визгливый голос тетки...

Мы ушли в самый дальний угол сада, под горку, к заросшему бурьяном оврагу, и долго сидели здесь в глубоком молчании. Я смотрел на вздрагивающие звезды и укорял кого-то в вышине: «Зачем Ты заставляешь любить и страдать? Зачем смеешься над нашей любовью»? Нет и не будет ответа... Плывет в загадочном молчании ночь над землей и пристально смотрит на землю дрожащими звездами... Эх, лучше бы ты не приезжала сюда, Калерия... Что мне делать? Что мне делать?

Я медленно побрел по аллее. Джальма побежала впереди, белым, сверкающим пятном мелькая в темноте меж деревьями... Приостановилась и заворчала... Испугала меня...

– Вперед!

Джальма побежала и пропала в темноте. Не лает Джальма: кто-нибудь «свой»... Не ускоряя шага, иду к беседке... Кто-то сидит на крылечке. Джальма лежит на траве около. Должно быть, мама пришла опять «объясняться» со мной... Ах, как надоели эти ненужные «объяснения»! Они только еще более запутывают всех нас в обидах и непонимании друг друга...

– Ты, мама?

Не отвечает. Кажется, плачет... Боже мой, да это...

– Ты, Калерия? Плачешь?

– Я больше не пойду туда... Не могу!. Я до утра посижу здесь, у тебя...

– Что случилось?..

– Всё равно... Не спрашивай!.. Иди спать... Я буду здесь до утра. Когда взойдет солнце, – поеду... Бог с ними!..

И опять, как в тот день, когда она просила меня похлопотать у батюшки за Вовочку, я положил на ее склоненную спину свою руку и прошептал:

– Бедная!

И мне было бесконечно жаль эту тихо плачущую женщину. Но теперь в чувство жалости властно врывалось и побеждало его новое.

– Милая, милая!.. Я люблю тебя, Калерия, и не могу жить без тебя...

– погоди, не целуй!.. У меня мокрые щеки...

– Не стоит плакать, Калерия!.. Бедная, голубка моя... Я никому не дам тебя обидеть... Мне казалось, что ты сперва... любила меня. Скажи: правда это или я ошибался и этого никогда не было?..

– погоди, Геня... Я скажу... всё... Дай мне немного успокоиться... Так обидно, так обидно... Что я им сделала?..

– Пойдем ко мне... Посиди у меня в последний раз...

– Хорошо... Ты иди и зажги огонь... Я немного посижу здесь одна и всё пройдет... И тогда приду...

– Ты меня не обманешь?

– Какой ты смешной!.. Нет, не обману...

– Я тебе верю...

Словно в лихорадке, вбежал я в беседку и, натыкаясь в

темноте на мебель, с трудом отыскал спички и лампу. Потом я начал наскоро прибирать в комнате, на столе. На мгновение остановился перед портретом Зои: вместо прежней нежности к нему, теперь шевельнулась неприязнь. Я шумно выдвинул ящик письменного стола и бросил туда портрет.

– Ну вот... видишь: не обманула. Хорошо у тебя, тихо...

– Какая ты красивая!..

– И ты разглядел?.. А помнишь тогда...

– Я был слеп, Калерия.

– И, может быть, это было лучше для нас обоих...

– Нет, нет...

– Оставь мои руки!..

– Они безумно красивы!..

– Сто раз слышала я эту фразу... Как мало в жизни нового! Сядем и давай говорить... о чем хочешь... искренно... не боясь слов... А где же портрет той милой девушки? Почему он исчез с твоего стола? – спросила вдруг Калерия и остановила на моем лице пристальный взгляд. Я опустил глаза.

– Это была ошибка... Я люблю тебя, только тебя, Калерия!..

Калерия вздохнула, укоризненно покачала головой и спросила:

– Теперь ты поставишь мой портрет?

– Да... Тот, который ты мне обещала...

– И настанет такой час, когда ты вот так же убережешь мой портрет и скажешь, что это была ошибка. И поставишь тре-

тий... Потом четвертый...

– Никогда, Калерия! Это – на всю жизнь... Клянусь тебе...

– Милый мальчик... Обманывайся и верь, пока не разочистишься...

Калерия погладила мои волосы и уселась на диван. От этого прикосновения кровь бросилась к сердцу, к голове, к лицу, и радость полилась по всему телу... Я вдруг рванулся с места и, опустившись на колени около Калерии, разрыдался и, покрывая поцелуями ее ноги, стал в восторженном иступлении шептать о своей любви и страдании...

– Я не могу, пойми, что не могу тебя потерять... Ты мне дороже всех... дороже жизни!.. Без тебя мне не нужна жизнь... Ты не хочешь понять, Калерия... Если бы ты знала, как я несчастен... Лучше не жить...

Я опустил голову ей на колени и стал тихо всхлипывать. А она ласкала мои волосы и ласково, с испугом и слезами в голосе, тихо говорила:

– Перестань... успокойся... Ты славный... Ты добрый и такой умница... Будь мужчиной!.. Я не люблю, когда плачут мужчины... Будь сильным и гордым, каким я тебя встретила...

– Ты не любишь меня... Нет, не любишь...

– Милый! я не умею любить так, как ты хочешь... Только раз в жизни я жестоко обманулась в любви и теперь... не умею, мой чистый, честный, хороший!.. Ты мне нравишься... очень.... может быть, я, ну, как тебе сказать...

– Правду, правду! – шептал я, не поднимая головы.

– Может быть, я могла бы тебя любить так, как я умею...

Но тебе надо другое... Ведь тебе мало моих глаз, моих волос, рук, моих губ... А я больше не сумею дать тебе... Я... моя любовь, как подснежник: быстро пропадает... Бери себе твою Маргариту... А я... я...

– Это была ошибка!.. Клянусь, только ошибка...

– А я красивая... но неверная... «Кармен»... Понял? Да?

– И всё-таки я люблю тебя, только тебя... Какая бы ты ни была...

– Я пустая... гадкая... неумная... Ты присмотришься к моей красоте, и ничего у тебя не останется... Ты моложе меня...

Заворчала вдруг Джальма и уставилась на дверь... Мы стихли, но я не мог поднять головы с колен Калерии... Открылась дверь.

– Подлая тварь! Убирайся вон! Пощади мальчика!

– Мать! Уходи вон! Не смей ее оскорблять! – закричал я, поднявшись на ноги.

– Мерзкая, развратная...

– Молчи!

– Гадина! – задыхаясь, прохрипела мать и, выйдя за дверь, громко сказала:

– Я позову кучера, чтобы он вытащил тебя за волосы...

– Ах, вы вот как! Хорошо... Идите...

Я схватил со стены ружье и дрожащими руками стал вкла-

дывать в него патроны.

Калерия захохотала, вскочила с дивана и, приблизившись, обвила руками мою шею сзади: крепко поцеловала в щеку и шепнула на ухо:

– Да, меня так еще не любили... На, целуй мерзкую, развратную гадину... в глаза, в губы! во что хочешь... Ах, какой ты красивый!.. Скоро рассвет... Посмотри в окно: уже вздрагивает небо и потухают звезды... Целуй!..

.....

Розовым полымем загоралось небо на востоке. Проснулись в саду птицы и, попискивая, стали покачивать под окном ветки сирени. Предутренней прохладой тянуло из окна. Было странно тихо, словно пробуждающийся день боялся еще уходящей ночи и осторожно крался по мягкой росистой траве и сыроватым земляным дорожкам, приглядывался и прислушивался...

– Пора... Занимается утро.

– Милая, милая!.. Как ты красива!.. Не могу оторваться от твоих затуманенных глаз...

– Опять слезы?... Ты уронил одну слезку мне на плечо... Горячо и щекотно... У, какой... бяка!.. Пора, пора... Сказка кончилась.

– Ты не поедешь... сегодня.

– Не могу, голубчик.

– Нет, нет... Не поедешь. Теперь ты... моя ты! Не отдам!.. Никому...

– Я, голубчик, не могу оставаться здесь ни одного дня... Ты это и сам понимаешь... Я подарила бы тебе еще несколько дней жизни... своей, а ты мне – своей, но... ведь это невозможно...

– Я хочу отдать тебе всю свою жизнь и душу отдать, а ты...

– Смешной... Мальчик... У меня нет души, чтобы обменяться с тобой... А жизнь... Нельзя брать чужую жизнь, когда не знаешь часто, что делать со своей...

– Не любишь ты меня!..

– Как умею... Я тебе говорила... Бери, какая есть...

– Калерия, ради Бога прошу – останься еще!.. Я не могу расстаться с тобой... не могу... Ах, ты не понимаешь этого... не хочешь понять...

Я припал к ней на грудь и не хотел оторваться...

– Ты как... ребенок у матери... Я тебе говорю, что осталась бы еще, но где...

– Я поеду с тобой... Ты смеешься?

– Нет... Этого не могу... Нельзя.

– Ты кого-нибудь любишь?

– Меньше, чем тебя... Не делай мне больно.

– Я мог бы убить тебя, Калерия!..

– За что?

– Не знаю... не знаю...

– Негде... Негде спрятать наш грех... Ведь люди это называют грехом...

– Если бы ты... Нет, тебе это покажется смешным...

– Ну, говори!..

– Мне хочется быть с тобой... только с тобой... Я унес бы тебя на край света, на необитаемый остров, и не знаю – куда... Тебе смешно...

– Какой ты милый... Я смеюсь потому, что твои слова пробуждают во мне детскую радость... Я смеюсь от восторга... Говори же!

– В старом бору, на берегу озера, живет лесник. Старик. Он рыбак и охотник... Мы друзья... Ты смеешься?..

– Ах, капризник! Я слушаю, слушаю... И, кажется, немного понимаю... Ты хочешь, чтобы там, в лесу, был наш «Край света»? Да?

– Да. Там есть домик. Старик живет летом в землянке, а мы... Ты не захочешь...

– Хочу! Это мне страшно нравится... Почему ты не веришь?... Тише, тише, ты задушишь меня... Ну,пусти же!..
Взошло солнце.

Яркая полоса золотисто-розового света ударила вдруг в окно и вместе с улыбкой заиграла на смуглом лице Калерии...

Где-то далеко играл на свирели деревенский пастух. Калерия прислушалась.

– Как хорошо... Можно снова поверить в счастье...

Обернулась, ласково посмотрела мне в глаза:

– Помнишь, в «Евгении Онегине»?

И, грустно, качая головой, потихоньку пропела:

«Пастух играет... А я-то, я-то»...

XIII

Яркозеленый, с белыми, красными, желтыми и голубыми цветочками, лужок. Кругом – старые сосны. Только с одной стороны – голубой просвет: там, под горой – круглое притаившееся озеро, как огромное овальное зеркало в рамке из камышей и кустов: в неподвижных глубинах его – голубое небо, с повисшими в нем белоснежными облачками. С горы – бесконечный синеватый туман далеких лесов... Молодые елки и сосенки, выбежав из старого хмурого бора, словно малые дети, побежали под гору и, рассыпавшись по склону до самого озера, остановились в изумлении пред ярким светом и далеким горизонтом... На краю бора, под соснами, стоит и смотрит двумя окошечками на озеро новая смолистая избушка лесника, а пониже, на спуске – зеленый холм, с темной обросшей плесенью дверкой и крошечным окошечком. Это – землянка, первоначальное жилище старика, где он скрывался и зимой, и летом, пока не выстроил, наконец, избушки. Бережет он ее... Для кого? Бог его знает. А, может-быть, просто привык к своей землянке и жалеет бросить ее. В землянке – все немудреное его хозяйство; там пахнет овчиной, дымом, печеным хлебом и кислым квасом, а в избушке – все новенькое: золотятся свежеструганной сосной стены, лавки, косяки, скамейки, божница, а на полу – половичок из золотой соломы; печка выбелена, жерло ее прикры-

то пестрядиной занавесочкой... На полке – самоварчик и тоже точно сейчас из лавки: блестит, словно золотой. Сизый глиняный рукомойник на веревочке. Крылечко с перильцами – на лужок. Нет двора, нет забора, загородки... Зачем? Всё – Божие и всё – твое... И небеса, и сосны, и вода в озере, и лужок с цветочками, и грибы, и ягоды, и дикая птица, укрывающаяся в лесных трущобах...

Благодарной примиренностью и безмятежным покоем наполняется душа от уединенной близости к земле и к небу. Чисто так и ясно и в голове, и в сердце, и всё думаешь: зачем люди хоронят себя и свои души в каменных мешках, ограждаются стенами, решетками, запорами, занавешиваются от солнца и друг от друга и всю жизнь боятся жизни и портят ее себе и другим?..

Как удивительно приятно, мелодично позванивают здесь колокольчики; пара лошадок, поматывая мордами, стоит под соснами и оглядывается: что там замешкался ямщик, привезший нас с Калерией?

– Тпру, милые лошадки! Ваш ямщик пошел искупаться в озере...

Глубокую благодарность чувствовал я и к лошадам, и к тарантасу, в котором мы приехали, к желтому чемодану и к картонкам Калерии.

– Ба! Джальма! И ты здесь? Ведь я тебе не позволил!.. Джальма припала к земле и виновато смотрит на меня умными глазами.

– Ну, ладно уж, прощаю... Ах, ты шатущая! Пронюхала-таки...

Ружье и гитара. Гитару захотела Калерия.

– Геня! Как здесь дивно хорошо! – кричит с крылечка Калерия, – что-то напевает и бежит помогать.

– Я сам, сам...

Оглянулась, схватила за шею, поцеловала крепко-крепко и, откинув голову, побежала в бор. Там она пела, и голос ее уносился под гору к сизым туманам далеких лесов:

«Нас венчали не в церкви, не в венцах, не с свечами»...

Вернулся ямщик. Это – тот же самый мужик, который вез меня домой.

– Разгуляться приехал?..

– Да.

– Эхе-хе... дела, дела! Голосистая... На весь лес беспорядку наделала...

– Никому не говори, что я здесь...

– А что мне... говорить-то?! Не махонький... Сам понимаешь...

– Матери не говори, что оба здесь слезли...

– Понимаю... Ну, надо ехать... Хороша бабеночка... Прощай! В среду приеду...

– Рано в среду... Приезжай в пятницу или в субботу...

– Она наказала в среду... к вечеру. Она, брат, не похвалит

за это...

Зазвенели колокольчики и рассыпались по лесу, словно засмеялись... Куковала где-то кукушка и всё дальше смеялись колокольчики. Кружились над цветами бабочки. Трещали в траве кузнечики. Тихо, как далекое море, шумел старый бор вершинами, а внизу под горой, пела моя Калерия... Неизъяснимая благодать ворвалась в душу, и, упав на траву, я стал смеяться и целовать землю...

– Господи, благодарю Тебя... Как я счастлив... как бесконечно счастлив!.. Джальма, ты не понимаешь отчего эти слезы... Ты лижешь мне руку, думая, что я несчастлив? Дурочка! Я теперь самый счастливый человек на всем свете!..

– Женился, что ли?

– А-а, дедушка! Откуда ты взялся?..

Я отвернулся и отер слезы счастья.

– Я из-под земли... Пришел узнать, не наладить ли вам самоварчик... Сижу в своей норе, как крот, услышал – поет твоя-то и вспомнил: не надо ли чего...

– Хорошую избу ты поставил.

– Ничего... Всю жизнь копил на нее: не доедал, не допивал. Сам-то не наживу, а внучке пойдет. Мне и землянка хороша, перед могилой-то.

– Хорошо здесь!

– Плохо ли! Благодать Божия... Карасиков не сварить ли? Живые, только сегодня пымал... молодуху-то покормить надо. Вишь, как она разливается... Эх, молодое-то дело!.. Всё

с песней: и горе, и радость... Когда женился?

– Недавно.

– То-то не слышать было... Господа больше под старость женятся, а вот ты по нашему... Да ведь пока молод – только и погулять с красивенькой бабочкой, а там «бери – не надо»...

– Не стесним мы тебя – в избе-то проживем?

– Что ты! Живите!.. От вас только радость одна в избе останется... Давно я тебя не видал... Отколь взял жену-то?

– В городе... Нравится?

– Не вредная... Для вас ведь не бабу, а пичужку нужно: не в работу, не в заботу, а чтобы пожарче приголубить да песенку спеть... За охотой-то ходишь, аль бросил? Не до охоты, поди, с молодой бабочкой-то?

– Нет, не бросил, и ружье привез.

– То-то! На озере выводки есть, летные уж. Как заря – все на родину слетаются. А собачка всё та же у тебя.

– Та же. Джальма.

Джальма подняла голову и вопросительно посмотрела сперва на меня, потом на старика, хлопнула по земле хвостом.

– Спать-то вам будет неладно, пойду травки накошу. Что твоя пуховая постелька... У меня в избе чисто: ни блохи, ни таракана, ни какой этой погани... Где у меня коса-то... Покричи меня, коли что. Я недалечко буду. Вон там, под горкой, околь озера...

– Ладно. Спасибо, старик!

Ушел. Добрый старик, с синеватыми, уже выцветшими глазами. Всех любит, весь мир. Приручил зайца: с ним в землянке живет вместе с ежом, — «нас трое» — говорит — «я, еж да заяц».

Где же Калерия?.. Не могу без нее так долго...

— Калерия!

— А-у!

Зачем ты, голубка, уходишь так далеко?.. Заблудишься в темном бору. Беспокоится за тебя сердце. Иду в ту сторону, где прозвучала валторна. Выхожу на круглую лесную полянку, пеструю от цветов, звонкую от гудящих насекомых... Здесь! Как огромный красный мак — голова в красном знаке в шарфе... Присела, ползает по траве.

— Ты?.. Здесь много земляники: давай рот!

— Я найду...

— Я нарвала для тебя. Иди же!

Села в траву, улыбается и манит глазами. Ах, эти глаза! Они и ласкают, и мучают; нет сил и нет слов, чтобы передать, как они прекрасны. Смотришь и тонешь в их притягивающей глубине, и горишь в их истомной ласке.

— Ну, будет смотреть. Иди ближе! Слово в первый раз увидал меня...

— Да, Калерия, в первый раз, всегда в первый раз...

— Приглядишься...

— Никогда!

Опускаюсь около и кладу голову на ее колени.

– Всё смотришь в небо... Ешь!

– Нет, я смотрю на тебя... В тебе – небо, и черные звезды
– глаза твои...

– Я – земля, а не небо. Понял?..

Наклоняется и целует в губы долгим поцелуем...

И оба закрываем глаза.

– Земляника!.. Рассыпал ты всю землянику... Подбирай же!

– Хорошо... Милая, как ты прекрасна...

– Тсс!

– Это – птичка...

– Тише, ты мнешь землянику...

– Глаза, мои глаза... мои губы...

Тихо шумит старый бор вершинами и звенит лесная поляна от радостного славословия жизни птицами, насекомыми, мириадами крохотной твари... И плывет тихий ликующий день над нашими головами...

XIV

Весь день бродили по лесу, нашли много белых грибов и земляники; Джальма спугнула тетеревиный выводок, истерически визжала, гоняясь за зайцем. Нехорошо, если собака зря гоняет зайцев, да уж Бог с ней, пусть порезвится... Забрались в такую чащу, что долго не могли выбраться: крутой овраг весь зарос кустами орешника, крапивой, шиповником, цепким хмелем; внизу, по оврагу, бежит прячущийся в зелени ручей, словно булькают бубенчики. Калерия жадно бросилась к ручью и страшно перепугалась: огромная глухарка, с сердитым клохтаньем, забила вдруг крыльями и вырвалась почти из-под ног Калерии. Она завизжала и бросилась ко мне:

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.